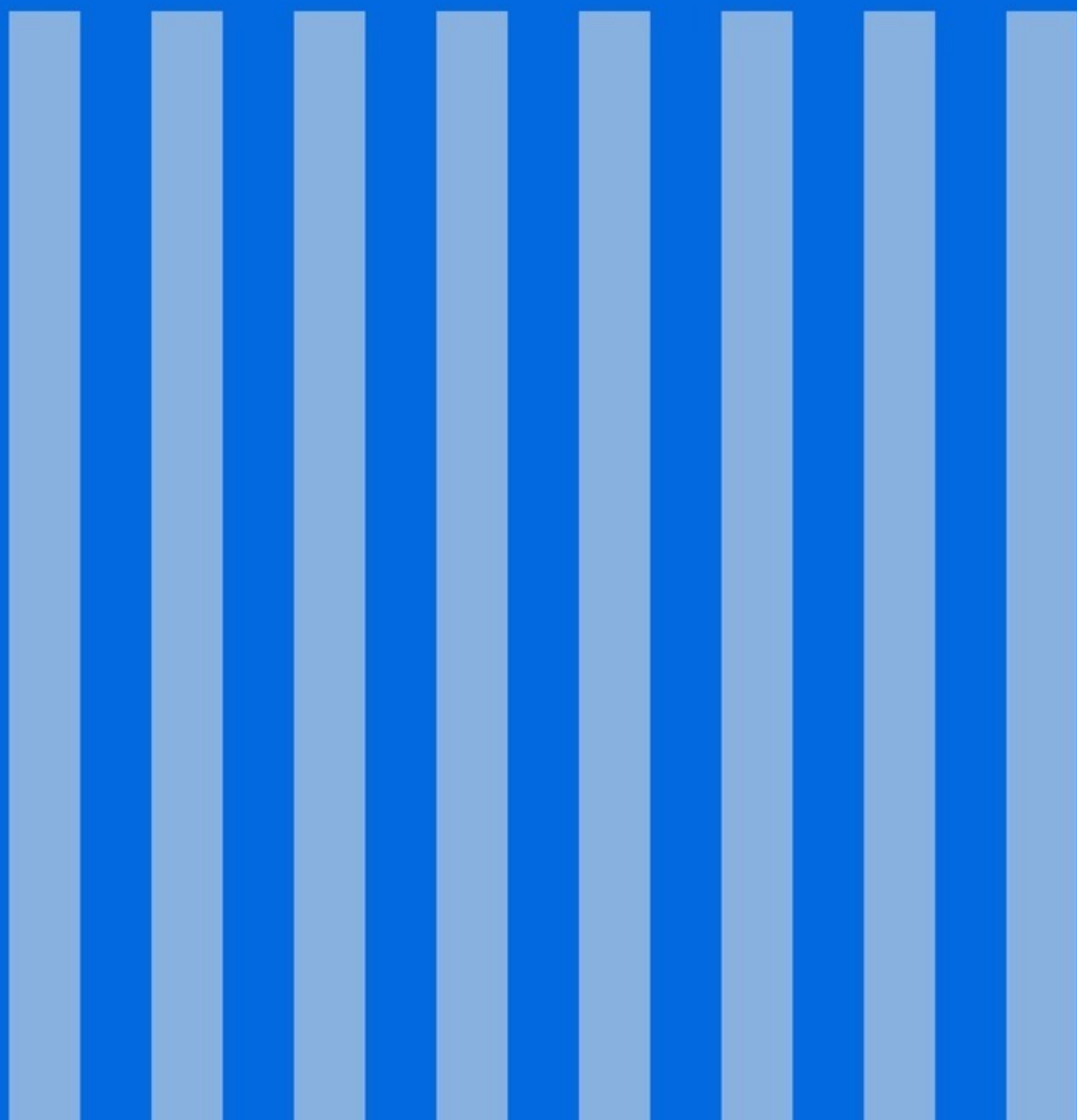


Анатолий Сорокин
Голубая орда

Книга вторая. Знамя Великой Степи



Анатолий Сорокин

**Голубая орда. Книга вторая.
Знамя Великой Степи**

«Издательские решения»

Сорокин А. М.

Голубая орда. Книга вторая. Знамя Великой Степи /
А. М. Сорокин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-833648-5

Выжить и возродиться. Вернуть земли и славу, утраченные отцами...
С дюжиной отчаянных единомышленников, вырвавшись из окружения,
оставшись с единственным преданным нукером Кули-Чуром, тутун Гудулу
провел на скале трудную зиму, и весной 681 г. Орхонская степь услышала
грозный топот тюркских коней. «Грубая сущность не вечна, — напоминает
автор во второй книге романа, — но вечными бывают ею рожденные мысли,
и глухой голос предков, подобный эху, иногда возвращается...

ISBN 978-5-44-833648-5

© Сорокин А. М.
© Издательские решения

Содержание

Рок искушения	7
Глава первая. Наедине с собой	8
1. Ранние снегопады	8
2. Казнь на дворцовой площади	18
3. У моста через Вэй	26
4. Стихия пьянящей расправы	31
5. С восстанием покончено	38
6. Волчьи гулянки	43
7. Костер на скале	47
8. Долгожданная встреча	52
9. Первый набег	56
10. В шатре Баз-кагана	62
11. Что скажет о тюрках тюрк?	68
12. Монах Бинь Бяо	73
13. Рабство души	80
14. Подготовка к облаве	88
Конец ознакомительного фрагмента.	90

Голубая орда

Книга вторая. Знамя Великой Степи

Анатолий Сорокин

© Анатолий Сорокин, 2016

ISBN 978-5-4483-3648-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Грубая сущность живого не вечна, нетленными остаются лишь мысли, рожденные в минуты наивысшего напряжения его беспокойного разума и достигающие нашего слуха подобно эху глухим голосом предков. Но чтобы

услышать его или представить в прежнем далеком образе, необходимо изрядно напрячься – слышащий только себя, многое не услышит.

Рок искушения

– И новые – вы грешны, – сказал Пророк, появившись на каменном острове, стесненном буйными водами, среди уцелевших по милости Неба людей и животных, зверей и гадов, начавших снова плодиться.

– Сотворено для геенны много бесов и грешных людей! Зачем? – вскричали ему. – У них нет сердца, которым они не понимают, глаз, которыми они не видят, ушей, которыми не слышат! Они – как скоты, даже более заблудшие.

– Кто сбился с Пути, тому нет водителя, и Небо оставляет его скитаться слепо в своем заблуждении, – Пророк снова был краток.

– Ты ведь – только ясный увещатель! – вскричали островитяне, совсем непонимая того, что стоят на макушке высокой горы, а вод вокруг так много, как много было пролито слез во все прежние времена.

– Если бы я знал сокровенное, я умножил бы себе всякое добро, и меня не коснулось бы зло. Да, я – только увещатель и вестник для народов, которые способны верить, – смиренно изрек Божий Посланник. – Восславьте хвалой Господа вашего и просите у него прощение... Поистине, Человек неблагодарен перед своим Господом!..

Люди подвержены страху. Они молились истово тридцать три дня и тридцать три ночи. Потом спросили:

– Как мы должны поступить, если мы прощены?

– Зверь порождает зверя, человек – человека. Не становитесь ни псами, способными только злобствовать, ни тварями пресмыкающимися. Добро и алчность — только добро и алчность, стоит ли в этом еще что-то искать? Изберите по сердцу свой путь, идите дорогами, созданными для странствий, но не для цели, пристально всматривайтесь в душу свою, но не мою, и снова молитесь, другого не знаю, – был тихим ответ.

Пав на колени среди птиц, скотов, зверей и гадов, люди просили себе милости и клялись Ему...

Он снова простил их, вода отступила. Но РОК! Человеку некуда деться от своего РОКА...

Глава первая. Наедине с собой

1. Ранние снегопады

– Тутун Гудулу? Я снова слышу это собачье имя! Живыми не выпускать! Уничтожить каждого тюрка, кто посмел самовольно сесть на коня! Я покажу, как бунтовать! – послышалось грозное приказание китайского военачальника, и было последним, что Гудулу запомнил отчетливо и лишь сильней подстегнуло.

«Уничтожить! Живым не выпускать!.. Ну, попробуй! Попробуй не выпустить, дворцовая крыса!» – взрывала голову накаляющаяся ярость, выдавив бешенный вскрик, отключивший сознание.

– Слышали? Все слышали – живыми не выпустить! За мной, несчастные тюрки! У нас нет больше хана. Никого у нас нет, боги, и те... А-аа! – Не то шептали его пересохшие губы, не то хрипело и рычало на пределе возможного где-то в разъявленной глотке.

Встречаясь в замахе, тонко звенели сабли. Привставая на стременах, он слышал странный звон, совсем не скрежещущий, как должно быть, а назойливо комариный, будто одно каленое жало касалось другого вскользь и нечаянно. Слышал под собой жилистое крепко сбитое тело коня, сильные ноги, будто ставшие... его собственными ногами, но сабли уже не ощущал. Ее словно не было... Как не было и руки. Вообще: мрак, брызжущий кровью в лицо, въедливый звон, скольжение сабли по сабле, плотная тьма, набитая, множеством ненавистных, уродливых лиц с хищно прищурившимися глазенками.

Они возникали и пропадали, появлялись и вновь исчезали, как в странном тумане и мареве. Запрокидываясь на спину и отстраняясь, они будто растворялись во тьме, полной криков ужаса, боли, ненасытно пожиравшей разом обрывающие возгласы смерти, охи и стоны в одной стороне ночи и мгновенно рождающейся в другой, и он, тутун Гудулу, здесь не причем, если... вокруг одно сумасшествие.

И сабля его не причем, дело, скорее, конечно, в коне.

Хороший под ним был конь, удачный. Шел смело, всей грудью, слышал желания всадника и сам, всей мощью широкой груди раздвигал и солдат и плотную, горьковато липкую вязь с привкусом крови. Гудулу легко к нему приспособился, поверил, как верят лучшему другу, работая больше коленями, пятками, яростно вращая саблей и прикрываясь щитом, совсем не напрягал повод.

По прежнему опыту и прежним ощущениям тутун знал: не давая полной картины и общего зримого представления, опасность ночного сражения менее трагична и чувственна. Она остается и перед глазами, и в горячем возбужденном сознании как мгновение стычки с одним, двумя или тремя противниками, остальное – неважно, ничего другого вроде бы нет, и долго для него больше ничего не существовало. Аспидно-черная темь шуршала песками, врывалась близкими и далекими глухими вскриками, давила на плечи, утяжеляла выброшенную вперед руку, которой было тяжело там, где должна находиться сабля, но тяжести самой сабли почувствовать никак не удавалось. Наверное, мешала плотная тьма, наполненная запахами крови, ужасом смерти, управляющими человеческой психикой по своим необъяснимым законам. Свои действия он совершал в безысходном отчаянии, дававшем дикую силу протеста, противления всему, что вокруг и вставало у него на пути. Он был неудержимым, безрассудно взбешенным призраком на крупном гривастом коне. Устремленный во тьму, которая не пропускает, нацелившись десятком длинных пик, замахивается саблями, рубит и рубит, он, прикрывающийся щитом, был притягательной надеждой для воинов, скачущим следом. Они были рядом, Гудулу слышал каждого. Не рассыпаясь лавой, шли строем, немедленно заменяя, того,

кто только что скакал впереди. Неслись в непроходимую смертельную бездну, переполненную до отказа вражеской неисчислимостью, и нужно было всех увлекать личным примером, по возможности выручая в критическую минут собственной саблей.

Он долго был горным потоком, лавиной, селем, расчищающими путь, и сколько их было, нукеров, не менее безрассудно устремившихся следом, можно только предполагать, понимая, что крайне немного. И теперь, пока жив, над ним нет ни силы, ни власти, кроме смерти, способной остановить его, приказать опустить разъяренную саблю, покинуть седло, покориться чужой ненавистной силе, через которую он яростно прорубается.

Ни за что!

Он заранее и всегда это знал, ощутив невозможность покориться китайцам, сдаться в плен еще на Желтой реке, приемля всякое другое решение, но и плана какого-то ясного, подготовленного у него не было. Просто монах Бинь Бяо, уверенный, нагловатый, зовущий в Чань-ань, стал для него последней каплей тоскливой нерешительности, враз взорвавшей сознание, и больше от него уже ничего не зависело.

Больше никто никогда не должен решать его собственную судьбу на свое усмотрение. Ни Урыш-старуха, ни шаман Болу с того света, ни китайские армии, ни само... Небо.

И Небу власть над собой полностью тутун Гудулу никогда не отдаст, он лишь в трудную минуту попросит богов о помощи, как просит сейчас.

– Помогите! Помогите, если вы есть! – шептал он этим богам.

Он страстно шептал, пытаясь поверить, что боги все же услышат.

Ему было жарко. Ему было душно. По телу катился пот. Были мокрыми затылок и шея, и он чувствовал как ему неприятно, что мокрый затылок, но выбрать момент, запустить руку за ворот, не только вытереть, просто хотя бы смахнуть эту неприятно липкую теплую влагу не было никакой возможности.

И все же огонь ярости вовсе не слеп и совсем не безрассуден, как принято думать, свое он слышит всегда, и всегда, притухая или разгораясь и обжигая новой тревогой, чему-то рассудочно внемлет. Гудулу облегченно вздохнул, позволил себе немного расслабиться, когда рядом заметил фигуру Кули-Чура. Кули-Чур оказался немного левее, на месте, где всегда находился привычный Егюй.

– Егюй... где? Где Изелька? – оглядываясь по сторонам, крикнул хрипло Гудулу.

– Не знаю, не видел... Не останавливайся, гони, дьявол, им нет конца!

– Егюй!.. Изель! – Повод резко натянулся, но конь, сильно подхлестнутый плеткой сердитого Кули-Чура, пошел с новой стремительностью.

– Егюй! Изелька! – ревел Гудулу, вращая бешено головой.

– Гони, дьявол! – кричал Кули-Чур, как он уже кричал на него давней жарко-багровой, немисливо плотной ночью, и стегал, сек, хлестал короткой плеткой коня.

– Изелька, паршивец! – безотчетно гневался Гудулу, почему-то желая немедленно увидеть толстогубого сорванца.

– Е-гюй!

Ни Егюй, ни Изель не отзывались, место Егюя занимал Кули-Чур, и теперь широкоплечий, тяжеловесный тюрк, черный как непроницаемая ночь, стал щитом, селем, лавиной, следовать за которым легче и проще.

Получив возможность перевести дух, Гудулу опять оглянулся.

– Изелька! Изелька, паршивец, ты где?

Было странным, что ночь расступается, выпускает в легкий рассвет, на ветер, бьющий в лицо утренней свежестью, стесняет приятной истомой холода розовеющей пустыни. Радостно было чувствовать себя живым, видеть впереди надежную спину Кули-Чура, впускать в себя робкое утро и его возбуждающие токи нового близкого дня.

Непроизвольно перестав гнать коня, Гудулу долго ехал точно во сне, не задумываясь, куда и зачем, пока не уперся в Кули-Чура.

Мир, терзавший всю ночь, алчущий его гибели, мир безжалостный и жестокий, словно вздыбился в последний раз оскалившимся конем и рассыпался в прах у него под копытами. Тишина! Обнимала одуряющая тишина, накрывшая розовеющие пески утренней свежестью. В одно мгновение скалящаяся слева и справа, вдогонку и впереди, хищница-смерть отступила, позволив упасть лицом на гриву задыхающейся лошади, покрывшейся пеной. Тутун Гудулу не успел толком подумать и остро почувствовать, что в нем и вокруг, в одно мгновение наполнившись сумасшествием. Рвущее жилы не напрягом руки и сабли, пытающейся достать чье-то мерзкое тело, а восторгом, что доставать больше некого. Некого! Нервной дрожи, сумасшедшего отчаяния, предельного напряжения отчаянно работающих рук – одной, взбрасывающей щит и другой, размахивающей саблей – больше нет. Оставшегося в ночи безумия, которым он только что жил, способного вопить, сострадать, сомневаться, сочувствовать, сжиматься от страха не успеть опередить занесенную саблю противника больше нет, упав тишиной и блаженным покоем. В один безотчетный миг он словно вышел из оглушающего отупения, наполнившего ненавистью и презрением ко всему безумно мечущемуся, размахивающему окровавленными саблями, пиками, громыхающего щитами. Мир жадный и ненасытный, воинствующий, которому нужно было или безоговорочно подчиниться, стать рабом в кандалах, или, напрягаясь на пределе отчаянной безысходности, покончить навсегда, изрубить, рассыпался, перестал существовать, требовать его смерти, представ широкой спиной Кули-Чура на лошади. Ощущая в себе бурю, ошалелое буйство крови, бьющейся в голове, кровавым пожаром мельтешившей в глазах, Гудулу напрягался всю страшную ночь, вытеснив из головы всякую мысль об опасности. Ныли крепко стиснутые зубы, но он терпел. Тяжело становилось при каждом замахе сабли запрокидывающейся голове, обрызганной кровью. Ныло судорожно вздрагивавшее горячечно нервное тело, не желая замечать, что еще дышит и чувствует, живое и жадное, волей безжалостной судьбы и неведомой силой презрения брошенное на жалящие угли погребального костра. Еще существует, но только как тень, паутина, падающая на лицо, текущая меж лопаток зудом потного тела, утомленного истаивающей ночью, тяжесть пережитых испытаний... но смерти впереди уже нет.

Сколько можно! Боги сходят с ума, проверяя меру его терпения и тех, кто рядом?

Совсем недавно, минувшим вечером, в лагере, окруженном китайцами, он готов был предпочесть неизбежному плену достойную смерть на поле боя, но умирать уже не хотелось. Минуту назад испытывая и страх и сомнения, как ощущал перед броском в холодные воды Желтой реки, приняв отчаянное решение плыть на другой берег, готовый к любому исходу, он почувствовал вдруг, что боязнь жарких углей всепожирающего костра, как и ледяной воды, неожиданно притупилась. Что тело его, сбросив тяжесть тревожного напряжения, уже торжествует.

Ее больше нет – смерти!

Нет ее, отступила вместе с ночью!

По крайней мере, сегодня и для него, воина-тюрка. Есть вечный полет среди алых маков на грани восторженного безумия, поющего о славной победе, которая все же случилась.

Туда – в сумасшедшее красное, обжигающее, – и обратно.

С усилием и животным стоном преодоления.

Он больше не интересовался бесследно исчезнувшим с его глаз монахом. Не желал знать, куда подевались китайцы в броне и блестящих в лунной ночи, только что возникавших ряд за рядом. Всю ночь он видел только шеренги, шеренги, в которые должен снова и снова врубаться, заранее высчитывая каждый скачок коня, снеся кому-то башку, раздвинуть сильным конем лезущие в глаза панцири, провести сквозь них скачущих следом, слушая тяжкий сап

и дыхание. Только – вперед! Остановиться было невозможно. Кто остановит стрелу, слетевшую с лука?

Ярость о смерти не рассуждает. Неистовство воина – движение сжавшегося в ком тела, вскинута рука с острым клинком. Удваивающаяся и утраивающаяся страшная сила, наполняющая крепкое, каменеющее тело и рвущая собственные жилы. Выбора нет! Начав – иди, тутун Гудулу! Шаман Болу, неожиданно появившийся парящим над головой привидением, сузив глаза, насмешливо зашептал: «Опять спасаешь слабых, тутун? Зачем они – слабые? Иди! Сам! И продолжи... Иди, тутун Гудулу, больше некому. Я буду следить за тобой. Или тебе повезет, и ты начнешь новое великое дело освобождения поработанного народа тюрк, или достойно, в седле, завершишь свою плотскую жизнь, принадлежащую Небу».

– Кажется, вырвались, Гудулу! Ну и ночь! – Кули-Чур был не только мокрым, он был обрызган кровью.

Барханы скрывали пространство; вокруг тутуна и Кули-Чура собралось немногим более дюжины нукеров.

Немногим более дюжины, но не было Егюя с Изелькой.

Их с ними не было.

– Изелька... Кто видел Егюя с Изелькой? – спросил Гудулу, не узнавая собственный голос, жалкий, невыразительный, как надорвавшийся тем же сражением, что и рука.

Пески! Вокруг возвышались горы песков, наползая один на другой, громоздились барханы; они, конечно, бездушно молчали.

Молчали и нукеры, собравшиеся вокруг бесшабашного предводителя, задеревенелые и бесчувственные, они еще не могли осознать в полной мере всего совершенного, что по-прежнему живы.

Живы, дьявол возьми!

Каждый вправе решать собственную судьбу исходя из личных желаний, но нелишне не забывать, о тех, кто находится рядом. Не сообщество создает жоака, – чушь, бесстыдная ложь и неправда – сама сильная личность выдвигает однажды себя на передний план, порой неосознанно подставляясь взбудораженной массе, сообщество лишь соглашается, принимает и признает. Законы лидерства никем не прописаны, но существуют со дня зарождения живого, по-разному о себе заявляя – дюжина тюрков, готовая подчиниться любому слову тутуна, жила ожиданием. И кто бы сейчас не попытался ей приказывать, никого не услышит. Кроме тутуна, которому и кричать не надо, достаточно властно поднять руку.

Да что там – властно, просто вытянуть в нужную сторону.

Чувство единства – стихия неудержимо непознаваемого, сцепляющегося в горячий клубок, становящийся плавительным тиглем судеб и судеб. Властью окрика не насаждается: ее рождение – потребность, но не приказ.

Пески, кажется, шевелились.

Пустыня пялилась желтоглазо, сурово.

Тутун произнес:

– Люди терпеливее животных, воду наших курджунов доверим Кули-Чуру, она для коней. Ты кто, не знаю тебя? – Камча тутуна указала на пожилого нукера, добродушного на лицо.

– Суван, – назвал себя пожилой добродушный увалень-коротышка.

– Прихвати связку саксаула и поднимись на бархан, я поднимусь на другой: сигнальный дым будет не лишним, кто потерялся. Но в оба, глаза, Суван, китайцев может привлечь...
Осень, день будет прохладный, побережем коней, отдыхайте.

* * *

День оказался не просто прохладным, день выдался пасмурным, что для начала было совсем не плохо. В течение дня прибило еще почти два десятка прорвавшихся из окружения, но Егюй с мальчишкой не появились, и усилия упрямого тюрка, рассылавшего в разные сто-

роны по два-три воина, взлетавшего на барханы, часами стоявшего на них, не слезая с лошади, надежды не принесли. Зато со стороны следящего за пустыней Сувана появилась сотня преследователей, причем, не китайских, что выяснилось с некоторым опозданием, и уходить пришлось срочно – к чему затевать стычку, чтобы снести несколько вражеских голов и потерять бессмысленно свои? Уходили они, к счастью, снова в ночь, на пределе лошадиных сил. Отходили хитро, пользуясь барханами и часто меняя направление. Преследователи с завидным упорством, сбиваясь со следа, теряя во тьме, особым чутьем находили их снова.

У преследователей проявлялась упорная цель, и в чем она, на следующий день догадаться не составило труда – отряд возглавлял уйгурский князь Тюнлюг. Дело принимало крутой оборот, вновь приведя тутуна в бешенство.

Вечером, не разрешив разжигания костров, он пробурчал неохотно:

– Охота идет на меня, заклятый мой враг князь Тюнлюг не отстанет... Решайте, кто куда, никого упрекать не могу, но и со мной радости не найдете.

– У нас нет припасов, зато у Тюнлюга в избытке, хорошо, что князь появился, словно посланный Небом. Я решил взять у него кое-что, Гудулу, – будто бы равнодушно, лишь взблеснув глазами, произнес Кули-Чур и спросил, скорее, для вежливости: – Разрешить?

Тутун, зная, что Кули-Чур когда-то служил Баз-кагану, предводителю телесской орды на Селенге, и должен помнить уйгурского князя, спросил настороженно:

– Князь... Ты был под его началом?

– Нет, я телесец северного огуза на Косоголе, жил в предгорьях Саяна, – ответил ровно Кули-Чур и поднялся: – Так разрешишь вылазку, тутун-предводитель?

– Не болтай языком в пустую... если решил.

– Тогда кто ты для нас?

– Тюркский воин без племени... За которым началась охота.

– А я сам не хочу поохотиться на уйгурского князя, и предлагаю сходить в ночь на удачу. Не хочешь, нам разреши.

– Хочешь, не хочешь... Вместе пойдем. С десятком. Остальных оставим в барханах, – оставаясь вялым и грустно-задумчивым, произнес Гудулу.

– Нас не ждут, все пойдем, заменим коней! – закричали дружно и в голос.

– Все пойдем, – легко согласился Гудулу и поднялся с попоны, на которой устало сидел усталым и вроде бы нерешительным.

Он не ставил задач, он сказал, когда нукеры оказались в седлах:

– Пусть покрепче уснут, Начнем на рассвете с разных сторон. Выбирайте сначала коней, потом курджуны с водой и припасы. На север, на север! Поскорей из песков. Там жизнь, там наша прежняя родина. Нам пора на Орхон.

Подобного нападения уйгурский князь не ожидал, вылазка удалась, в дряблой серости утра тюрки умчались дальше в пески на более свежих уйгурских конях, прихватив, что удалось, но князь не сдавался, у него появлялись свежие резервы и он упрямо шел следом.

Южно-алтайские склоны гор и привольные степи оставались недосягаемыми, в песках опять установилась жара. Не хватало главного – воды коням. Только бы воды! Не выдерживая, кони падали иногда прямо в скачке, нукеры, настигаемые уйгурскими всадниками-тенгридами, погибали бесславно.

На глазах! Захлебываясь прощальным беспомощным вскриком.

Вздвигая на пике очередную срубленную голову тюрка, преследователи потрясали ею победно, и тутуну казалось, что волосатая голова, похожая на копну почерневшего сена, на уйгурской пике продолжает гневно кричать, взывая к безжалостной мести.

Но уйгурский отряд князя Тюнлюга был и спасением, давая при возникающей острой необходимости самое важное, пока тюрков было не меньше двух десятков.

При этом как сам тутун, так и его сподвижники проявляли невероятную изобретательность, чтобы проникнуть в лагерь, схватить на скаку, что плохо лежит, удачно уйти. Они нападали, зная, что их ожидают, но, проявляя бесстрашие, все-таки нападали. Ночь, только ночь была им верной союзницей.

Дневная жара не спадала. Идти вглубь пустыни было бессмысленно. Редкие кочевья, встречающиеся на пути, пугались дикого разбойного вида отряда бродяг, мечущегося ошалело в пустыне. Не в силах помочь чем-нибудь особенным, пастухи иногда позволяли лишь поменять уставших коней.

Почти месяц длилось это безумно жестокое испытание преследований и встречных ночных вылазок, посильное крайне немногим, в конце концов, закончившееся выходом за пределы пустыни, где началось другое. Теперь их ловили несколько сотен, включая сотню самого Баз-кагана.

Пытаясь прорваться в чернь, где встретил разбойничью шайку, Гудулу скоро понял, что уйгурский князь угадывает его план; Тюнлюг-преследователь был не только безмерно зол, захвачен желанием поймать ненавистного тюрка, он оказался достаточно умен, предусмотрительно перекрывал поредевшему отряду тутуна самые важные пути.

Другой степи, кроме Орхонской, тюркский предводитель не знал, и не было рядом Егюя.

И Кули-Чур прежде не бывал в Орхонских степях, Кули-Чур знал Саяны, северные земли орды Баз-кагана, он говорил: «Пойдем краем Саян, через владения знакомого тебе нойона Биркита, в моем огузе нас никто не выдаст... Или уйдем за перевалы к Байгалу и курыканскому алпу Аркену, дорогу я знаю».

Предложение нукера было здраво, вполне осуществимо, но, поколебавшись, тутун его не принял, не решился бросить, не выяснив судьбу скитающегося, может быть, в надежде на встречу Егюя. Земля у Байгала была ему чуждой. Как и молодой вождь курыкан.

На степь легли ранние холода и в предчувствии зимы, первого снега, когда каждый шаг по ней станет зримым, Гудулу принял последнее, самое отчаянное решение.

Он объявил, собрав у костра остатки отряда:

– Утром разделимся. Со мной останутся двое. Остальные – берите выносливых коней, уходите в Алтынские горы. Лучше на ту сторону, за перевалы. Кто уцелеет, весной буду ждать... если сам уцелею. Прощайте!

Никто толком не понимал, почему тутун остается на зиму в предгорьях, почему не хочет залечь в каком-нибудь безопасном глухом урочище, как не понимал его Кули-Чур, вызывая досаду.

А Егюй понял бы сразу...

Не поняв... понял бы.

Без Егюя с Изелькой Гудулу было непривычно. Во всем, все раздражало. Особенно, когда нужно было срочно найти что-то в курджунах и сразу не находилось, поскольку что где лежит, знал всегда лишь Егюй.

– Гудулу, зима в степи – не в Китае, пропадем ни за что, Гудулу... Егюй едва ли придет, – попробовал образумить его Кули-Чур.

– Никого не держу, уходи, – хмуро повторил Гудулу.

– Что кричишь, я поклялся быть у тебя за спиной. Как уйду? – сердился непонятливый Кули-Чур.

Шайтан иногда умеет замутить разум, железных людей в борьбе с ним не бывает; Гудулу закричал злее намного и безысходнее:

– Я тебе не шаман, чтобы стоять у меня за спиной!

Он зря закричал, потому что шаман Болу был уже мертв, и воспоминание о нем навалилось невыносимой грустью.

Утром, обняв каждого, кто направлялся в новую неизвестность, он обнял нукера Кули-Чура и виновато буркнул:

– Надумаешь, уходи, Кули-Чур, зла не держи. Со мной пропадешь.

* * *

Пробурчав очередную сентенцию, похожую на бурчание, что двум смертям не быть, а врагов всегда больше надежных друзей, о чем тутуну пора знать, Кули-Чур остался, и пожилой добродушный Суван никуда не ушел. Снег на просторах Алтая, Орхона, Саян повалил с вечера, густо-обвально, спустя несколько дней, как распрощавшись с отрядом, остались они втроем. Зима упала значительно раньше обычного, в одну ночь. Было тихо, безветренно, удивительно тепло, что радости не приносило. Поднявшись узкой козьей тропой на гору, в ранее облюбованную пещерку под нависшей скалой над обрывом, Гудулу спешил первым, глухо сказал:

– Зима началась, Кули-Чур.

В возгласе было много печали и бесконечных тяжелых раздумий, не покидавших его с той поры, как они вырвались из окружения, но говорить о них вслух было не в его правилах.

– Суван! Суван, коней заведи под скалу, в затишье, нам здесь подойдет! – прикрикнул Кули-Чур на пожилого спутника, подхватившего поводья коней.

– Лошадь хороша, когда на ней скачешь, но лошади нужен корм, – сказал не без прямого намека рассудительный Суван, поставив мокрых коней под каменный козырек, куда приказал Кули-Чур, и заботливо накрывая попонами.

Суван был в годах. По-особому кривоног и тяжеловесен. Острые колени его ног при ходьбе сильно выпирали, точно для пешего хода не были предназначены. Медлителен и неповоротлив. Смуглое, остроскулое, обветренное лицо, должно быть, не умело хмуриться и наполняться злобой, оставаясь покладистым и благодушным. Такие редкие люди всегда приятны абсолютным внешним беззлобием и почти не замечаемы другими. С ними удобно, когда они есть, но и без них никому не в тягость.

Гудулу и Кули-Чур сидели на камнях, откинувшись на скалу.

Суван опустил перед ними на корточки, неуверенно предложил:

– Может, разложить костер?

– Кажется, куда-то приехали, – Гудулу оставался в себе, говорить ему не хотелось. – Будем спать, утром решим остальное, – произнес, помолчав, как исполнил важную обязанность, добавив порезче и строже: – Хорошо, снег замедает следы... Спать, спать, я устал!

Сон, в понимании кочевника, не столько потребность, сколько необходимость. Он всегда насторожен и чуток, редко бывает беспробудно продолжительным. Суван и Кули-Чур, словно заранее сговорившись, часто поднимались по очереди, ходили к лошадям, с тревогой вслушивались в ночь, полную обвального снега, подолгу стояли над обрывом. А тутун, как мгновенно уснул на камне, позволив подстелить под себя свернутую овчину, укрывшись тулупчиком, так и проснулся, не шевельнувшись за ночь.

– Зима, Кули-Чур, – произнес он те же слова, с которыми засыпал, смахивая снег с груди и встряхивая тулупчик, медленно, вяло поднялся.

Спутники его не слышали. Они лежали на входе в пещеру под слоем снега.

До самого горизонта было белым-бело. Да его, как такового, точно не существовало – этого горизонта, он сливался в слепящей белой дали с белесой пустой невесомостью.

Повздыхав, отхлопавшись от снега более тщательно, подув на замерзшие руки, Гудулу покачал ногой один заснеженный бугор, потом другой:

– Вставайте, кони замерзли.

Бугорки зашевелились, услышав человеческую речь, подали признаки жизни кони, забрякав удилами.

– Спешись куда-то, тутун? – Голос был Кули-Чура.

– Много упало! Как много упало! Что будем делать? – Из бугорка рядом с Кули-Чуром показался заспанный, слегка вспухший Суван.

Похлопывая себя, чтобы согреться, и продолжая по-бабьи охать, он скрылся под навесом скалы, где стояли заиндевевшие кони.

– Ты не ответил. Следы на белом снегу заметны, дальше куда? – спросил ворчливо Кули-Чур.

Широко расставив ноги, скинув кожаный нагрудник и растирая лицо снегом, Гудулу вдруг весело произнес:

– Если не спешить на тот свет, придется немного выждать... Ха-ха, немного совсем, до весны! – Он странно, непонятно для Кули-Чура рассмеялся.

– Мы ходим, ходим по кругу, таская на хвосте то сотню Баз-кагана, то уйгурского князя... Ты все ждешь, что кто-то придет? – осторожно, как если бы подразумевалось запретное для произнесения вслух, спросил Кули-Чур.

– Да кто придет, никто не придет, пришли бы давно, – заговорил Суван, появляясь из-под скалы.

– Егюй – опытный воин, погибнуть не мог, – сказал, как отрезал, Гудулу.

– Тутун, он с мальчишкой! – недоуменно воскликнул Кули-Чур.

– Егюй всегда был с Изелькой. Под Изелем хороший конь, – неуступчиво произнес Гудулу.

– Гудулу, Егюя могли схватить, князь Тюнлюг не глупец. Мы отрываемся, куда-то уходим, но уйгуры опять на хвосте! Исчезнем – они снова находят, – ворчал Кули-Чур. – Нас только трое, Гудулу! Трое, а было почти три десятка! Упала зима, каждый след на виду! Сам говорил: затаимся в лесу; найдем глухомань с медвежьей берлогой и затаимся.

– Егюй не найдет, как он узнает? – Тутун был упрям.

– Живой – найдет! Был бы живой!.. Как зайцы: по кругу, по кругу!

– Мы здесь уже ходили, Егюй знает, как я пойду! – Голос тутуна сохранял непреклонность.

Не решаясь на иной протест, оставаясь неудовлетворенным, Кули-Чур продолжал ворчать:

– Когда ты упрямый, с тобой лучше не говорить, все забываешь.

– Не держу, уходите. Как те... кто ушел, – в сердцах бросил опять Гудулу.

Обидевшись за бывших единомышленников, ни в чем тутуну не изменивших до последнего часа, Кули-Чур укоризненно буркнул:

– Никто не ушел, Гудулу, одних ты прогнал, другие – на пиках Тюнлюга.

Гудулу невольно смутился.

... С Кули-Чуром ему было намного трудней, чем с Егюем; не в силах понять его чувства и настроение, Кули-Чур утомлял больше меры. Егюй слышал его, угадывал самые незначительные желания, был заботлив, внимателен и немногословен; Егюй умел, когда надо, молчать, а этот всегда спешит показать, что у него есть язык.

При этом... большо-ой, что вызывало особенную неприязнь и раздражение!

Смирив несправедный гнев, Гудулу сердито гукнул:

– В дальнейшем оставь свою болтовню при себе, Кули-Чур... если хочешь идти рядом... Даже когда моя речь опережает мое сознание.

Кули-Чур недовольно нахмурился:

– Хорошо, Гудулу, попробую. Впереди много всего, сам не спеши.

– Я сказал – ты услышал... А я тебя услышал, с тебя хватит. – Гудулу сохранил твердость в словах и твердость взгляда.

Он выбрал это, не очень вроде бы выгодное убежище в скалах над отвесно крутым обрывом, падающим вниз, в долину, поросшую саксаулом и разным кустарником, исходя из соб-

ственных убеждений, ни с кем не советуясь. И теперь, когда выпал снег, и окончательно можно было понять, правильно или неправильно он поступил, осмотревшись бегло, Гудулу неуверенно произнес:

– Не будем высовываться без нужды, останемся незамеченными. Тебе предлагаю, Суван... Пожилой, похожий на табунщика... Ты тоже должен уйти, Суван.

– И Суван больше не нужен? – растерялся нукер.

– Нужен, ты знаешь, где мы остаемся и будем здесь долго. Наверное, до весны. Ищи пастухов, кочующие табуны, собирай новости. Говори: весной появится тутун Гудулу старого тюркского рода, хорошо известного на Ольхоне; у него много воинов, готовьтесь пристать, чтобы рассчитаться за наших убитых отцов и матерей, уведенных в неволю. Прояви осторожность, прежде чем высовывать болтливый язык. Прикинься, что умирал на морозе, отстав от какого-то каравана. Сходи в урочище к шаманке. Узнав, что там, снова вернись. Иди, Суван, я не могу... бросить Егюя.

– Мой язык снова впереди моей мысли, но ты, Гудулу... – Кули-Чур не справился с тем, что хотел сказать, захлебнулся, закашлял.

Тутун и Суван рассмеялись.

– Гудулу, я исполню приказ, к новой луне вернусь, – помолчав и подумав, произнес пожилой нукер.

– Не спеши, будем ждать в следующей луне. Уходи, пока падает снег. Он засыплет следы.

– Да сохранит тебя Небо, тутун! И тебя, Кули-Чур! – Суван поклонился каждому из товарищей.

– Коня возьми любого, – глухо гуднул Гудулу, опустив глаза в небольшой костер, обложенный высокими камнями.

– Взял бы, но не возьму, – потупившись, ответил просто Суван.

– Жакши, зима длинная, нам лишний конь пригодится. Жакши! Начни с распадка, который за саксаульником, давно за ним наблюдаю, там кто-то должен бы зимовать. Хороший распадок. Но не задерживайся, не стоит, что бы кто-то тебя заметил. Не прямо спускайся, сначала по склону, на дальний край долины. Следов на снегу поменьше оставляй. Видишь, осыпи, камни? – Гудулу показал рукой путь, предлагаемый нукеру.

– Пойду осторожно, я понял, тутун, – ответил Суван, перевязывая понадежнее грубые кожаные обутки из плохо обработанных лошадиных шкур, порядком истертые стремянами, что-то перекладывая в небольшом курджуне и примеряя его на спине.

– Внизу не забудь оглянуться. Наш дым заметишь, выходит, и другие видят. Плохо, кто там такие?

– Плохо, – согласился Суван.

– Спрашивать станут, говори: встретил странника с черной болезнью, наверное, он зимует.

– Я дам сигнал, разожгу небольшой костер. – Суван показал на далекую скалу у входа в лесное урочище.

Как только Суван, соблюдая возможные предосторожности, скрылся из виду, Гудулу обернулся к оставшемуся с ним нукеру и глухо бросил:

– Без корма лошади быстро худеют, Кули-Чур, начнем с лошадей.

Кули-Чур его понял, поскольку Гудулу назвал коней лошадьми, согласно кивнув, спросил, стараясь не выдать волнение:

– Сразу забьем всех?

– Пока две. Тебе шкура и мне, – тутун усмехнулся.

Остальное они совершали со знанием дела, в полном молчании.

С помощью аркана, привязывая его к передней ноге, завалив и покончив с лошадьми, они обернулись каждый сначала кошмой, потом дымящейся шкурой так, чтобы мех оказался

вовнутрь. Дожидаясь пока кожа затвердеет на морозе, легли на снег в этих коконах, расширяя их, насколько возможно, руками, локтями. При этом Кули-Чур продолжал беспокойно ворочаться. Словно внимательно вслушиваясь, не желая пропустить, не отдаст ли Гудулу новое распоряжение, отменяющее претворяемое. Передумает вдруг и отдаст – нельзя не услышать! А тутун, как лег, так снова не шевельнулся.

Получилось убежище – как нора. Они занесли, каждый свое, под скалу, в нишу, засыпали снегом, хорошо утоптали.

Затем принялись за разделку туш.

– Осталось дожидаться весны, Кули-Чур, – произнес Гудулу в сумерках, когда дело, назначенное на день, было закончено, и первым полез в конуру, высланную кошмой.

Наконец можно было подумать, что с ними случилось и что может быть.

И никто, ни одна живая душа не будет ему очень долго мешать.

Может, быть, целую зиму...

2. Казнь на дворцовой площади

– Спешите! Казнь на Дворцовой площади, где подобных казней не было давно! Повелением императора Гаоцзуна и Великой У-хоу сегодня будет казнен отсечением головы злобный тюрк, старейшина князь-ашина, вождь возмутителей спокойствия в Шаньюе, Ордосе и Алашани! Его засушенная волчья голова будет выставлена во Дворце Предков, но вы увидите, как она истекает последними каплями крови! Спешите, чтобы увидеть и рассказать своим детям! – зазывно кричали конные и пешие глашатаи, внося оживление и переполох в обычную душно-пасмурную утреннюю тяжесть столицы, зима которой еще не достигла.

Зрелищ подобного рода в столице хватало, а казнь отсечением головы – в Китае не любили строить громоздкие виселицы – была доступна всякому любопытному зеваке почти каждый день. Но не на главной площади и не дерзкого возмутителя покоя тысячелетней державы, о котором шепчутся в страхе второй год, помня, что ханы Степи не однажды поили в реке Вэй, омывающей крепость Чаньань, своих диких потных коней.

Огромная площадь была оцеплена императорскими гвардейцами в мохнатых шапках и отборными солдатами дворцовой дивизии в блестящих латах, с грозными искривленными алебардами, что лишь умножало величественность необычного торжества. В середине возвышался массивный помост, соорудившийся несколько дней из бревен и толстых плах, также окруженный кавалеристами в начищенных до блеска бронзовых панцирях и шлемах, с длинными хвостатыми пиками. На помосте мрачным изваянием каменно возвышался широкоплечий палач в пурпурном шелковом балахоне и черной маске. Он опирался на длинную прямую рукоять топора с широким блестящим лезвием пальца в три, внушая невольный страх стайке мальчишек, прибежавших первыми.

Скоро потянулись ночные бродяги, другие бездомные дети, с рассветом, раньше ленивых собак, обследующие помойки и свалки богатых владений. Дюжинами выпархивали из ночных питейных лачуг, создавая свою любопытствующую суету среди редких прохожих, девицы расхожего толка. Повалили многопестрой гурьбой поскучевшие торговцы, менялы, продавцы жареных бобов, лепешек и пирожков с начинкой из риса, яиц и лука, торговлю которыми приказано было на время свернуть. За ними последовали второразрядные чиновники и простолудины. Наконец застучали колеса карет, кибиток, возков, зацокали копыта коней зажиточных горожан и знатных особ, пожелавших немного развлечься, появились толпы монахов, закончивших утренние служения в пагодах и прочих молельных заведениях.

Привычные ко всему, в том числе, наряду с казнями, и к шествиям разного рода, карнавалам, торжественным выездам двора в дни жертвоприношений предкам за городом, горожане переговаривались о том, в первую очередь, насколько князь из Степи дикарь и за что какому-то тюрку настолько высокая честь. Исполнение императорского смертного приговора на площади, где подобного действительно давно не случалось, в обывательском понимании чаньаньцев, искушенных многими казнями, являло собой очень высокую честь. Мало, что ли, грязному тюрку деревянной колоды на мосту через Вэй?

В разномастной многоликой толпе всегда находится знающий больше других, и кто-то, презрительно фыркая, спешил сообщить небрежно, что казнь старого князя Ашидэ-ашины – только начало настоящей расправы над побежденными дикарями в песках Алашани. Что под стены Чаньани согнаны тысячи пленных, ожидающих жалкой участи. Что среди них немало других знатных бунтарей, которым, наверное, здесь же, на этом помосте, целый месяц будут рубить грязные головы.

– Вот забота – тысячи тюрков! Закопать в землю, если так много, и делу конец! Время только теряем, – возмущались в толпе.

– Кровью потом долго пахнет, собаки ночами воют.

– А что говорят монахи? «Далеко нам до царства покоя, – говорят они. – Тюрки среди тех, кто пытался помешать великому царствованию Поднебесной! Их смерть на наших глазах для того, чтобы сохранилась в памяти поколений!»

Утро оставалось пасмурным, затянувшееся ожидание в одних только усиливало праздную остроту ощущений, других утомляло тяжелым бездельем. Но толпа есть толпа. В ней, бездеятельной, мечутся токи буйства скрытой стихии, возникает особое напряжение. Толпе уже не терпелось увидеть этого злокозненного тюрка-вождя, о котором толком среди них мало кто знал, насладиться острым, щекочущим нервы зрелищем, и то, что ей вскоре предстало, когда князь появился, вызвало досадливое недоумение. Окруженный солдатами в панцирях, с алебардами и офицерами с обнаженными саблями, князь выглядел немощным и невзрачным. Он шел медленно, пошатываясь из стороны в сторону. Запруженная людьми площадь тысячеголоса взревела мгновенным единым презрением к тюрку-врагу, но, не в силах не увидеть, насколько князь изнеможен и стар, вроде бы смутившись, понемногу притихла.

Где-то засвистели и разочарованно заулюлюкали.

Князь шел осторожно, как ходят слепые. Он был седой и взлохмаченный, зная, что с ним должно скоро случиться, пытался выглядеть достойно чина и положения. Выравнивая шаг, стараясь унять трясущиеся голову, руки, он становился только смешнее, походил на шута, вышедшего позабавить толпу городских бездельников, сбежавшуюся поглазеть на очередное развлечение.

Когда процессия приблизилась к ступеням помоста, в дальнем углу площади, под старым раскидистым деревом остановилась ничем не примечательная черная карета, принесшая беспокойство и стражам и палачу. Из кареты никто не вышел, но по толпе прошел тихий, как ветер, шепот.

– ОНА? – спрашивали в испуге одни.

– ОНА, – в не меньшем испуге отвечали другие.

– Эта черная карета у НЕЕ, чтобы выезжать на важные казни, – подтверждали третьи.

Офицер, поддерживающий незаметно князя под локоть, выпустил на мгновение и с первого шага князь не попал на ступеньку, оступившись, невольно сконфузился. Стражи подернули его за цепи, подпихнули на первую ступеньку, на вторую и подняли на помост – сам, пожалуй, он бы ни за что не взошел.

Наверху, неожиданно почувствовав под ногами опору, тюркский князь снова едва не упал, что вызвало в толпе напряженный и нервный смех, и будто вскрик, а рядом с помостом возникло движение. Высокий человек с капюшоном на голове, рванулся к помосту, расталкивая толпу, но другой, одетый схоже, ухватив за руку, удержал.

– Отпусти! Отпусти! – возмущенно и нервно вырывался виновник неожиданной суеты. – Как он состарился, Тан-Уйгу, невозможно узнать!

– Успокойся, держись, я говорил, он плохо видит, почти не слышит!

– Тан-Уйгу, ты обеща-ал... Как я хотел встретиться с ним!

– Не называй никаких имен, не привлекай внимание. Ты не выдержишь, лучше уйти, не находишь?

– Уйгу, Уйгу, он мой отец!

– Прошу, кругом соглядатаи, не надо имен!

На князе разорвали одежду, сдернув до пояса, как сдергивают шкуру с барана, и толпе предстал жалкий, немощный старичок с трясущимся посиневшим телом и выпирающими остро ключицами. Когда ему стали связывать руки, заломив за спину, по толпе прокатился легкий смешок и презрительные выкрики, доставив новое сильное беспокойство высокому человеку в капюшоне.

Князь вел себя тихо и терпеливо-покорно, пробовал натянуто улыбаться, представить его грозным, размахивающим саблей, рубящим направо и налево головы, было невозможно, и толпа разочарованно молчала, как будто чего-то недопонимая.

– Собаке собачья смерть! – крикнули нервно и злобно в толпе у помоста, умело возбуждая разочарованных зевак.

– Он волк, не собака! У них на знамени злобная волчья пасть! – охотно подхватили по другую сторону помоста.

– Смерть тюркам-собакам! – визгливо закричали рядом с каретой.

Чтение приговора было коротким и торопливым, словно бы судебный чиновник спешил куда-то: тюркский князь Ашидэ за поднятое возмущение в Шаньюе и Ордосе приговоривался высоким императорским судом к лишению прежних чинов, привилегий и благородной для князя смерти – отсечению головы. Его княжеские владения в Ордосе передавались именным указом победителю кампании генералу Жинь-гуню.

– Победитель – Жинь-гунь? А Хин-кянь? Разве тюрк разбил не Хин-кянь? – удивлялись в толпе.

– Помолчи, сам ты... Хин-кянь!

Князя поставили на колени. Высокий широкоплечий палач в черно-красном одеянии положил на толстый чурбак поудобнее для себя его голову с ничего не видящими глазами и беззубо раззявленным ртом, потянулся к секире с длинной рукоятью.

– Вот бунтарь! Бунтарь беззубый! – не выдержав, засмеялись за спиной у Тан-Уйгу.

– Зато тюрк!

– Смерть собакам!

– Нашел собаку! Мятежник, ха-ха!

Смерть мгновенна: топор палача поднимается, может быть, медленно, а падает стремительно, выпуская из грубого тела в вечный полет душу казнимого. В потустороннюю бесконечность, в которую живому никогда не проникнуть. И нет, и больше не будет для нее страданий; в невесомый дым превратится прошлое и уже не родится в неповторимо великом хранилище разума самое ничтожное желание погубленной плоти. Никто не знает, как душа расстается с телом, кто больше в трепете и смятении при этом – душа или тело. Совершив сотни казней, не понимал и палач, но уверенно знал, что душа умирающего от его руки ему неподвластна. Его топору подотчетно лишь тело, которое он убивает мгновенным ударом, расчлняя только зримую оболочку огромной неосознанной сути Великого и Божественного.

Томящаяся смертью убежища-тела душа палачу неслышна в своей крайней страсти, пусть улетает, душу казнить невозможно. Великие учителя древности утверждали, что живые тела и объекты существуют не абсолютно, а лишь относительно и в том сознании, которое их воспринимает. Но законов существования относительного и абсолютного множество, приговоренный к смерти, сам вправе решить, куда он последует, завершая жизненный путь в земной оболочке. И там, куда он последует силою собственных устремлений, в Высшем Мире астральной природы осознанного и неосознанного, условно называемой Сферой Мысли, пребывание его будет коротким или продолжительным исходя из того, чем была его жизнь в земной оболочке. Именно здесь, покинувшие земную обитель нравственности и пороков, способны подняться выше простых физических ощущений, воспринимая радость гармонии сфер, обретая общения с Ангелами, и наполняя свою чашу дальнейших познаний. Вот почему Мудрость требует благородства еще при той жизни, которая случается на Земле, не дожидаясь следующей, при посмертном существовании...

Палачом был императорский страж-евнух Абус – так пожелала сама Вседержительница. Абус провел ночь в молитве, прося у богов снисхождения к себе, не имеющему ни зла, ни презрения к важному тюркскому князю, и не сомневался, что душа смертника всегда в устремлении к Божьему вечному Свету и поиске желанного очищения, по-другому она не живет. Что,

после удара его топора, через страшную рану она изойдет, истечет, никому не давая отчета, лишь сотрясая жалкое тело мгновением судорог.

Абус многое знал, многое понимал, скрадывая последние тягостные минуты одиночества уходящего императора, нуждающегося в сокровенных беседах о страданиях и чувствах людей. Но император поздно задумался об этом и был не в силах помочь ни себе, ни здравому смыслу, уничтоженному той, кому он доверил всю власть.

«Разум, как луна, полный и одинокий,
Его свет поглощает десять тысяч вещей.
Не то, чтобы Свет освещал Поле,
Не то, чтобы Поле существовало,
Просто Свет и Поле забыты,

А что позади?» – чаще других и настойчиво-неоднократно произносил умирающий император изречение Третьего Патриарха, посвященное «верящему разуму», словно находя в этом спасительное оправдание своим безликим делам и поступкам в отличие от мудрого родителя, создать что-то полезное для Китая, – Какое бы название мы не давали высшей природе – «свет», «разум», «зеркало», «совершенный Путь», – говорил он пересохшими болезненными устами, – постичь ее можно только выйдя за пределы «отбора и выбора», куда улетает душа умирающего... Разум как пятна на поверхности зеркала; когда грязь устраняется, свет начинает сиять и Высшая Природа видимого раскрывает свои глубинные тайны...»

Умирающий император это одно, завершающий путь на деревянной императорской колоде под его топором – другое; Абус на них насмотрелся. Этот был жалок, неинтересен, к смерти совсем равнодушен. Такие бесстрастно живут и умирают, не выразив последнего гневного возмущения, подобных палач жалеть не умел. Непринужденно, привычно вскинув топор и опустив на дряблую шею старейшины-князя, палач шумно выдохнул, жестокая работа его завершилась, почти без усилий.

...Палач шумно выдохнул, но его шумный «хык» не смог заглушить мерзкого хруста шейных костей, слившегося с долгим шипением, которое еще исходило из обезглавленного в долю мгновения старого княжеского тела.

В толпе, где стояли два человека в капюшонах, послышалось что-то похожее на тягостный стон.

– Его больше нет, Уйгу! – Один из капюшонов затрясся, упал на другой.

– Пойдем, к нам прислушиваются, ты говоришь громко... Уходим, – поспешно сказал Тан-Уйгу, решительно раздвигая толпу.

– Куда? Никуда не хочу! – сопротивлялся назвавший князя отцом, но сопротивлялся не настолько сильно, чтобы с ним нельзя было справиться.

Палач поднял за длинные седые волосы голову князя – что так же входило в его иезуитскую работу, – вяло потряс, показывая толпе, заставляя собравшихся на площади снова бесчувственно и дружно взреветь.

– Зачем пригоняют увидеть насильственную смерть тела? – воскликнул сын князя.

– Отвернись, не смотри, – произнес Тан-Уйгу, силой разворачивая своего спутника и пытаясь вывести из толпы.

Сквозь толпу к ним пробирались две подозрительные фигуры, и Тан-Уйгу, цепко взяв князя под локоть, властно сказал:

– Уходим, уходим!

– Отпусти, – сопротивлялся молодой князь.

– Уходим, – не сдавался гвардейский императорский офицер.

Подержав навесу голову, с которой продолжало капать, под крики и улюлюканье, непонятно что выражающие, палач бросил ее в корзину.

– Он бросил... в корзину? – спросил княжеский сын.

– В корзину, – ответил Тан-Уйгу, изо всех сил работая локтями.

Толпа поредела, Тан-Уйгу сдернул с головы капюшон и сердито проворчал:

– Казни продлятся до самой зимы, Ючжи! Князя Фуняня везут, Выньбега! Потом начнут придумывать тюркские заговоры в самой Чаньани. Тебя... Не замечаешь пока ничего? Слава Небу, шаман умер собственной смертью! Вон, хочешь, зайдем и как следует, выпьем? – Тан-Уйгу показал рукой на аккуратную китайскую питейную с красными бумажными фонариками на входе.

Резко сбросил капюшон со своей головы и сын казненного князя. Это был молодой человек с тонкими, выразительными чертами лица, искаженного пережитым ужасом. Он был дьявольски красив. Его черные глаза бессмысленно и потерянно метались, а повышенная нервная возбужденность словно застыла ужасной обезображивающей гримасой. Губы его тонкие, сместившись одна относительно другой – ставшие безвольными, синими, точно им было холодно, – мелко тряслись. Вздрагивал нерв на щеке, под левым ухом, и шевелилось все красное ухо. Глаза в узких прорезях век будто плакали, наполнялись слезами, и тут же в них возникала мгновенная и летучая ярость. Он был слаб и мог быть не слабым. В нем все управлялось не единой силой воли владеющего собой человека, а внезапной стихией сразу многих чувств, свобода которых в подобных случаях никем и никогда особо не ограничивается.

– Пойдем... как следует, выпьем, – произнес он глухо, безотчетно повторяя слова Тан-Уйгу, и согласно тряхнул длинноволосой головой.

Они вошли под бамбуковый навес, где на циновках рассаживались другие посетители, вяло обсуждающие казнь степного князя, огляделись в поисках укромного места.

– Да разве он тюрк, этот жалкий старик, – громко рассуждали о князе, – ты тюрков не видел!

– Не видел? Вон, оглянись, они на каждом шагу! – И спорщик, не испытывая неловкости или смущения, вызывающе ткнул пальцем в сторону Ючжени и Тан-Уйгу.

Подобное отношение к себе в чуждой среде встречает любой инородец, Тан-Уйгу давно к этому привык, его сознание давно уже не реагировало на подобные выпады, не заострялось негодованием или ответным презрением. А княжич вдруг замер, как-то взъерошился, и в таком состоянии мог совершить необдуманый поступок. Тан-Уйгу взял его плотно под локоть, движением головы указал на дальний угол с пустующей циновкой и маленьким столиком.

Выделив новых посетителей в чиновничьих одеяниях, как непривычных для своего заведения, заслуживающих особого уважения, к ним подбежал расторопный хозяин и, получив сердитое приказание Тан-Уйгу, увлек за собой.

– Есть, где спокойнее! У меня почетные гости бывают! У меня хорошее заведение, свежая рыба и нежная птица фазан! Танцовщицы! Фаршированный крупный удав, черепаховый суп, змеиные языки! Что прикажете приготовить? Музыкантши из школы искусств! Музыкаантши! – повторил он многозначительно как пропел. – Молодые совсем прелестницы сада удовольствий, – впустив посетителей в тесную каморку с выходом на просторную площадку для представлений, рассыпался в любезностях крупноголовый китаец с модной косичкой на затылке.

Отдав хозяину новое строгое распоряжение, свидетельствующее, что пришли они не ради его уличных соблазнительниц, Тан-Уйгу, шумно вздохнул:

– Не знаю, Ючжи, что случилось, вчера во дворце речи о князе не шло, говорили о пленных, которые рядом с Чаньяню, обсуждали торжественную встречу генерала Жинь-гуня. Я дважды встречался с Сянь Мынем, он словом не обмолвился о казни, а утром... Ючжень, не сердись, я не смог, в последнее время Сянь Мынь мною не очень доволен.

– Увидеть его... Я увидел, спасибо, Уйгу... Он, правда, оглох и ослеп?

– Глухим его привезли, потом князь ослеп.

– Ты говорил, он сожалел, что поддался Фуняню и Нишу-бегу. Почему сожалел?

– Он так сказал, отвечая на вопрос монаха, почему не пошел вместе со всеми в тюркскую Степь за Желтую реку. Он сказал: надо было пойти с шаманом Болу не в пески, заложить новое поселение, а вывести всех на Сленгу и Орхонский простор, Поддавшись напору князя Фуняню и Нишу-бега, позволив столкнуться в сражении с генералом Хин-кянем, он погубил свой народ.

– Отец был слишком стар, Уйгу.

– Стар? Твой отец, Ючжень Ашидэ, был сильный князь, военное дело знал. Встань сам во главе, кто знает, как бы еще оно повернулось! Слышал бы, как он разговаривал с У-хоу и монахом; У-хоу сама спускалась к нему в подземелье!

– Ты рассказывал.

– Князь им сказал, – горячо перебил его Тан-Уйгу, – он сказал Сянь Мыню: пожар не скоро потухнет, Сянь Мынь, унизив инородцев, вы допустили ошибку. Жаль, Ючжи, на Ордос для тебя дороги больше не будет.

– Что мне Ордос, я там почти не жил, – скучно произнес молодой князь.

– Тебе лучше покинуть Чаньань хотя бы на время. Всем тюркам будет непросто, но тебе...

– Куда? Куда, Тан-Уйгу? Я на службе империи евнухов и монахов!

Серая тучка накатилась на солнце. Нацеливаясь на помост, пошла, поползла, полезла по головам поредевшей толпы, не спешащей окончательно расходиться. Накрыла массивное сооружение для казней, исполнителя-палача, опирающегося на топор, и снова, брызнув лучами, осветила и обезглавленное тело последнего тюркского князя из времен императора Тайцзуна, и убийцу в пурпурных одеяниях, широкие плахи, кровавую лужу...

Соблазняясь и обманываясь, сама по себе жизнь мало что может; ею управляют, выстраивая и подчиняя отдельным обстоятельствам, чаще, самые омерзительные распорядители, делая многое беззащитным и бессмысленным. Но другого ведь не дано и едва ли будет доступным...

Немногим, крайне немногим жизнь в наслаждение! Крайне немногим!

Краем площади стремительно удалялась черная карета.

* * *

Смятение не может быть вечным; полное сарказма восклицание молодого князя о чиновничьей зависимости задело Тан-Уйгу, проникло в его холодный расчетливый разум. Всегда считая себя воспитанным для служения Табгачскому государству, как называли северный кочевой Китай и Застенную равнину его соплеменники, он с честью исполнял предназначенное и покорялся всему, что выпало на его долю тюрка-инородца, безропотно приняв, что судьба – благосклонность Неба. Но усвоил он твердо и то, что неизменного в мире нет. И если во времена великого собирателя земель императора и мыслителя Тайцзуна существовали одни порядки, при его сыне Гаоцзуне и У-хоу другие, то с восшествием на трон следующего, пока еще несовершеннолетнего, которому он сейчас непосредственно служит, обучая военным наукам, неизбежны и третьи. Это был стержень всей его рассудочности, для инородца спасительной и обнадеживающей, как легкий приятный туман. Не подвергая сомнениям свои устоявшиеся убеждения, подталкиваемый к надеждам на перемены хитроумным монахом, он давно и несколько иначе, нежели Сянь Мынь, сделал ставку на юного принца. Это была его великая тайна. Себялюбивая, эгоистичная, но устремленная к цели, обозначенной самим Сянь Мынем как эпоха неизбежных и благодатных будущих перемен, которые непременно должны наступить не без его участия. Он многому научился именно у Сянь Мыня, который, владея всем, готовился и дальше властвовать во Дворце, чтобы не происходило на троне, и немало достиг, избрав этот путь. Осторожные беседы Тан-Уйгу с наследником становились все продолжительнее. У него доставало предусмотрительности, сохраняя необходимую отстраненность от принца, глубже и ненавязчиво проникать в его сердце, готовя доступными себе делами свое

потрясение истории – всей истории, подвластной императорам, а не отдельной личной судьбы, чем занят был больше всего хитрый монах.

Не очень доверяя стихии так называемых народных возмущений, которые на самом деле к народу имеют отношение весьма отдаленное, он был уверен, что мыслит утонченнее, а действует созидательней. Волею providения, оказавшись рядом с наследником, он, терпеливый, настойчивый тюрк, используя полезные уроки монаха, содействует принцу по мере своих возможностей лучше понять недалекое прошлое. Осознав глубже и обстоятельней, стать достойным славы его императора-деда, способствуя этим надеждам на перемены и вдохновению уцелевших приверженцев прежних досточтимых времен, способствуя многим из них возвращению на службу. Обстоятельства ему благоприятствовали, сама мать-императрица, ее тупые фавориты вносили немалую смуту в душу наследника. В живых оставались некоторые старые вольнодумствующие вельможи, князья, бывшие высокопоставленные чиновники, хронисты-историографы и летописцы прежних времен. Их было немного и почти не осталось в Чаньани, уцелев именно потому, что жили в глухих провинциях, заинтересовать юного наследника умом, знаниями, пониманием устройства миров вершителями прошлого, большого труда, заметно не выпячиваясь и не привлекая внимание, для Тан-Уйгу не составляло. Один за другим они как бы случайно появлялись рядом с принцем и попадали под его высококордную защиту.

Нет, служить монахам и евнухам, тупым генералам китайский офицер тюркского происхождения вовсе не собирался. Все шло в едином для него устремлении, соответствовало его собственной логике и логике тех тюрков-соплеменников, с которыми он поддерживал отношения, включая старшего сына казненного князя Ашидэ, удачно пристроенного на службу в Палату чинов. Главой этого ведомства недавно был назначен опальный вельможа, последний, наверное, из высших сановников государства, склонных к решительным переменам, а юная дочь его, принцесса Инь-шу заинтересовала Сянь Мыня, к чему Тан-Уйгу также удачно приложил свою руку.

Казнь тюркского князя-ашины его сильно расстроила, не ожидая такого конца этой незаурядной судьбы, он к подобному совсем не готовился, почему-то уверенный, что у князя достаточно при дворе серьезных покровителей, и почти не готовил его сына. И сейчас молодой князь Юджи раздражал его не тем, что изливал в отношении китайцев, а тем, скорее, что сам еще мало что значит... если вообще что-нибудь значит. Так о чем, о каком государстве монахов кричит этот молодой отпрыск приличного тюркского рода, не сделавший пока ровным счетом ничего даже для собственного благополучия? Как же глупы они все – его чаньяньские соплеменники, живущие на коротком поводке у странной судьбы, слизывая с чужих подносов чужие подачки! Пугаются того, что в Степи, и недовольны происходящим с ними в Китае, живут каждый маленьким личным, а мечтают о чем-то несбыточно общем...

Не устраивает жестокая повелительница, властвующая над слабавольным императором? Такое, когда женщина становится сильней законного правителя, не однажды случалось, и горький час У-хоу еще наступит. Монахи достигли всесилия? Но были всесильны и евнухи и генералы – у каждого власть предрежающего свои пристрастия и свои начала. Уметь выстоять, уцелеть, не потеряться в безумстве свершений – есть обычная житейская хватка, а способность что-то переиначить, исправить, изменить в самые глухие времена на пользу разума и самого человеческого процветания – высшая мудрость. И он, по сути, безродный тюрк Тан-Уйгу, постиг ее... не без помощи того же Сянь Мыня. Он, всего лишь скромный наставник по боевым искусствам восходящего на трон, делает для будущего больше, чем десять восстаний, похожих на только что захлебнувшееся в крови.

Подобно молодому князю, опасаясь последствий, он редко встречался со своими чаньяньскими соплеменниками. Они были ему малоинтересны. А те, на окраинных землях, дружно поднявшиеся за тюркскую честь, оказывались малодоступными. Ощущая свое одиночество,

пустоту вокруг, Тан-Уйгу становился раздражительным, как невольно повел плечом в ответ на проявленную юношей обреченность, дав невольный простор тяжелым рассуждениям, взорвавшим его. Теплое рисовое вино напоминало пойло, Тан-Уйгу поморщился, выпив новую пиалу, но опьянение не наступило, голова сохраняла ясность и навязчивую обеспокоенность. Идти никуда не хотелось, тем более во дворец, не хотелось видеть сейчас принца-наследника и пропало желание дальше оставаться с Ючженем.

– Не верю, что там все утихло, – произнес Тан-Уйгу глухо, признаваясь горячечным шепотом в самом сокровенном. – Больше не верю! Не может тюркская Степь, однажды воспрянув, так вот затихнуть!.. Знаешь, я жалею теперь, что не ушел. Немного бы еще... Я бы ушел, клянусь!

Его знобило, он верил, о чем жарко шептал. Перед глазами мелькала река, наполненная телами, раздвигающими льдины и пропадающими в пучине, монах Сянь Мынь, насмешливо утверждающий, что народа тюрк больше нет, наследник, предлагающий ему называться китайцем.

– Последнее, что помню, посылая в Чаньянь, отец сказал: все равно мы дети Степи, не забывай, Ючжи. А его больше нет, – продолжал отдаваться воспоминаниям тюркский князь, совершенно не затрагивая наставника принца.

Они жили разным. Юный Ючжень страдал невосполнимой утратой. В нем больно билась горечь ее, терзали собственные страданиями, не желающие слышать не менее тяжелые, живущие рядом

Молодой князь был удручен, действовал угнетающе, подавлял беспомощностью; отодвигая чашку-пиалу, Тан-Уйгу устало произнес:

– Да, Ючжи, мы дети Великой Степи, но помним ли нашу Степь Великой? Я хотел служить ей здесь и строил свои планы. Я думал так о себе, совершенствовался в этом до тех пор, пока не увидел тупое, бессмысленное сражение на Желтой реке и не увидел жалких, раболепствующих наших тюрк-старейшин. Доставить генералу Хин-кяню голову собственного вождя! Меня поразило не то, что жалкие, ничтожные слуги не гнушаются изменой, а то, что этими жалкими и трусливыми оказались не простые воины, которых я смог бы понять и простить, а старшины и старейшины. Что еще сделать для них больше того, что сделал твой отец – князь Ашидэ, чтобы они вернулись к началу? Такие они, предадут все родное в любой час. Включая память о предках.

3.У моста через Вэй

Подобострастно согнувшись, услужливый хозяин питейного заведения шептал в самое ухо:

– Тюрки-мужчины – мужчины горячие! Я узнал тебя, наставнику нашего принца, благодарю, что ты осчастливил мое скромное заведение присутствием. У меня есть особый подарок. Оглянись, достойнейший господин офицер! Тобою любят, не скрывая восторга, лучшие в Чаньани тюркские девушки-обольстительницы! У-уу, сколько жажды, огня, а ты еще к ним не дотронулся! Не лишай моих юных красавиц, чувствующих каждый нерв возбужденного мужчины, своих вожелений и сладостных грез. Укажи, с какой господин офицер пожелает уединиться и дозволь ей заняться тобою в меру своего божественно сладострастного мастерства.

От него несло чесноком, приправами, мускусным духом. Отстраняясь невольно и раздраженно, Тан-Уйгу заметил на просторной площадке, вдруг распахнувшей перед ним в глубине шелковые драпировки, похожей на бамбуковые заросли, двух изящных служительниц вертепа мелких утех и соблазна. Появившись, как выплыв, они словно бы изнывали от неутолимых и нескрываемых возжеланий. Их взгляды зовущие, устремленные на него, изливали мягкую негу волшебного тяготения, обещая немислимые удовольствия, просили приблизиться. Хозяин махнул рукой. Полилась легкая струнная музыка. Девушки ожили. Тела их, извиваясь по-змеиному, пришли в единое плавное движение. Всё! Всё в них, наполненное искуснейшей страстью, двигалось и колебалось, открывая только ему тайные прелести, всё оведало его ненавязчивой музыкой чувств и возбуждая горячую страстью желаний.

– Пусть исчезнут! Закрой! Закрой! – Тан-Уйгу хотел закричать, выразить гнев и страдания души, но вышло вовсе не громко.

Хозяину вполне хватило; поспешно и суетливо, в явной досаде он снова махнул рукой, и шелковые занавеси быстро сомкнулись.

– Оставь нас... Принеси, что у тебя самое крепкое, – глухо сказал Тан-Уйгу.

– Принесу, принесу! Сейчас принесу, – раскланялся и пятился хозяин-китаец.

И скоро на малахитовом столике появились новые наполненные пиалы. Тан-Уйгу сделал несколько жадных глотков, ожидая чего-то свежего и бодрящего, но только смешал тяжелые прежние мысли с новыми, неловкими и непосильными.

...Совершая обычные однообразные круговращения в рождении и смерти живого, история упрямо смеется над человечеством, неизменным в пороках, устремленным к благам и заблуждениям. Она пытается образумить, наставить его, просветить суровыми уроками прошлого. Каждым новым шагом и действием она твердит, что так уже было, но люди, соглашаясь и зная, что было, и было отвратительным, ужасным, делается не лучше и еще менее достойно, они становятся хуже, не желая осознавать, что сами творят не менее ужасное и уродливое. Они перекраивают законы, развязывают еще более жестокие войны, переустраивают государственную власть и перекраивают государства, надеясь втайне горячей лихорадочной увлеченности, что с их делами случится иначе и у них получится лучше. Действительно, у кого-то случается по-другому, удовлетворяя завистливую страсть к власти и благам, но эгоизм отдельной личности беспределен. Он притягателен и манящ. Эфемерен и соблазнителен. Другим человек, подвластный обычным, свойственным всякому подобному существу вековым порокам, быть просто не может. Даже в молельне, наедине с Богом, он чаще нечистоплотен, как не надо бы для его грешной души, и отвратительно мерзопаскуден. Подумав так выпренно и пространно, Тан-Уйгу нервно и огорченно вздохнул. Всё утро, всё тусклое и тяжелое начало дня, до неприязни и отторжения он, ощущал грусть и разлад во всем сокровенном, что было его устоями, на которых зиждилось его прежнее многолетнее китайское существо-

вание. Казнь князя-ашины словно безжалостно вырвала из него последнюю каплю рассудочности, однако, существенно поколебав, прежних устремленностей и заблуждений полностью не лишили. «У каждого шага есть сотни, тысячи продолжений. Пусть только два, назад или вперед... Они существуют, их можно сделать каждому! Но кто и как выбирает единственное для продолжения – в этом ведь все! В этом. Переборов, начать и пойти. Какой выбор будет ошибкой, если ошибка случится? Кто будет в ней повинен, кроме тебя самого?» – просто, вроде бы, и убедительно вел с ним беседу его внутренний голос. Он досаждал странным образом, раздваивая его существо на разум и тело. На чувства, как впечатления, и мысли – проекцию в абстрактное и возможное постижение тайн сущего силой собственной логики и объективной возможности. На тех, кто упрямо умирает в песках пустыни, и на тех, кто рядом, в Чаньани, подобно молодому сыну казненного князя.

Снова появился хозяин заведения, маячил, пытаясь привлечь внимание, и не решался приблизиться.

– Что у тебя? – резко спросил Тан-Уйгу, вдруг подумав с неприязнью, которой в нем раньше не было, что за ним, возможно, прислали из дворца от наследника.

– Тюрки... Их гонят вдоль Вэй, – шепотом, как некую тайну, произнес китаец.

– Какие... тюрки? – Тан-Уйгу его не понял.

– Не знаю. Сказали, что гонят большой толпой, я услышал.

– Ну... гонят, так гонят... Что же теперь?

Не придав сообщению китайца особенной важности – в самом деле, мало ли кого теперь и куда не погонят, – Тан-Уйгу оставался как в налипшей, опутавшей его паутине, мешающей пошевелить рукой или ногой, и не хотел там оставаться. Не являясь настолько знатным, как Ючжень Ашидэ, давно попав под опеку монахов и не зная тех начал, которые привели его, мальчика, в один из тибетских монастырей, Тан-Уйгу всего достигал ненасытной жаждой познания и здравомыслием. Великим терпением и видимостью покорности. Упорно и настойчиво устремляясь в будущее. Внимательно наблюдая за противоречивой жизнью, развивая природную сметку и накапливая жизненный опыт, позволяющий осмотрительно и осторожно продвигаться к намеченной цели, как в чуждой среде редко кому удается. Он с легкостью льстил Сянь Мыню, под присмотром которого начинал обучение в монастыре, и с особым лукавым усердием продолжил льстить, никогда не считая монаха ни самым умным, ни самым образованным, с тех пор, когда вдруг почувствовал, что его готовят к некой особой миссии. Долго не понимая, в чем она будет заключаться, но, по тайному желанию Сянь Мыня оказавшись рядом с наследником, он сумел извлечь немало, рассчитывая скоро получить еще больше. Поездка в армию генерала Хин-кяня многое изменила в его прежних желаниях. Всё цельное, устремленное, разом разрушилось, утратив опору именно там, на Желтой реке, когда перед ним предстало, нет, не мужество и отчаяние, с которым остатки туменов Нишу-бега бросались в ледяную воду, а – окровавленная голова бега на золоченом подносе в трясущихся руках тюрка-старейшины.

Трясущиеся руки, поднос и голова, от которых отворачивался брезгливо сам жестоколюбый монах, но совсем не отстранился юный принц, готовый в юношеском азарте схватить эту безжизненную волосатую костомагу за окровавленные пряди.

Из поездки в ставку Хин-кяня он вернулся как бы сбросившим что-то долго стеснявшее, словно неудобный панцирь не по размеру, омертвляющее его тюркскую суть, начав следить за каждым движением возмущившихся с возрастающим интересом. Следил, невольно анализировал, прикидывал, что-то в тайне высчитывая и желая восставшим любой, пусть незначительной, но только удачи.

А само восстание, казавшееся ранее чуждым, во многом непонятным, бессмысленным, не вызывавшим возвышенного восторга и у большинства соплеменников, знакомых ему по Чаньани, вдруг предстало совсем в другом свете.

Всё предстает иначе, когда вдруг поймешь, за что не жалко жизни...

Он шел к этому долго, непросто, его удачливая судьба не нуждалась в немедленных переменах. С трудом поддаваясь нелегкому осознанию, что трагедия, произошедшая на рубежах старой Степи и Китая, есть неизбежность большого начала, которое предопределено самой историей будущего.

Начала, а не конца, как видел монах.

В смерть всего тюркского народа он больше не верил, тяжело переживая измену старейшин, проявивших позорную трусость и омерзительное, предательское повиновение врагу-победителю, решившись на убийство собственного вождя.

Это было добровольным убийством каждым из них собственного тюркского духа, который до этого часа он так же слышал в себе не часто.

Тюрк предает тюрка – ужасно!

Тюрк отрезает голову тюрку – кощунство!

Это был и его позор, разъедающий душу и разум сохраняющейся в памяти ужасной картиной, представшей на высоком речном обрыве под рев флейт и буханье большой барабанов.

Он стал другим с того дня, наполненного треском и грохотом оглушающего торжества, но стал ли он справедливее, поднялся над злом или погрузился в него с головой, сам сделавшись опасным исчадием зла, – об этом Тан-Уйгу пока глубоко не задумывался, ощущая просто страдания, тяжесть и душевную боль.

С тех пор он знал о восставших в мельчайших подробностях, за всем следил, не в силах чем-то помочь, но людей у князя Фуняня становилось меньше и меньше, генералу старой военной школы Хин-кяню не составило большого труда проявить хладнокровную военную расчетливость и довести начатое до конца.

К тому же на помощь китайскому генералу пришли телесцы-тенгриды, уйгуры, помнящие о временах тюркского владычества. Они надежно закрыли северную границу империи от прорыва возмущившихся в Орхонские степи и на Алтай, внесли смятение и в его душу, затаившуюся невольной надеждой.

Не менее враждебно в отношении его соплеменников показали себя кидани с татабы, встав на других возможных путях шамана Болу и князя Фуняня в Маньчжурию и на Байгал, окончательно лишив тюрков последней надежды на спасение. Удачными действиями китайские генералы вынудили князя Фуняня скитаться в Черных песках и, наконец, на достаточно почетных, обнадеживающих условиях сдать. Об этом самодовольно любил рассуждать монашествующий царедворец Сянь Мынь, внушая безропотному слушателю мысль о тонкой предусмотрительности, направленной на усмирение буйного Севера. Ни душа, ни собственное мировоззрение не принимало ничего подобного, и он окончательно возненавидел монаха, вскоре снова увидев голову Нишу-бега в других обстоятельствах, преподнесенную его же, князя-ашины сподвижниками теперь лично китайскому владыке на еще более богатом хуннском подносе.

...Тан-Уйгу смотрел из-за спины принца-наследника на эту засохшую волосатую голову с пустыми глазницами, и словно бы видел рядом еще одну и еще. Охватывал ужас бессилия, Возникло непреодолимое презрение к тому, на кого он сильно надеялся, благоухающего благовониями, бесчувственного непосредственно к смерти и, задыхаясь горечью увиденного, начинал ощущать горячечную жажду быть с теми немногими, кто бродит в песках...

Мир был и остается бесчестным, сатанея лишь с каждым веком. Честь, достоинство – понятия странные, достаточно узколюбые, иногда они превозносят не смелость и отвагу, а глупость и упрямство. Старого князя-ашину Тан-Уйгу было не очень жалко. Скорее, его вообще не было жаль, разве что немного из сочувствия к Ючженю. Князь сам сдался властям, поступок его Тан-Уйгу разгадал без труда, связывая с желанием старого тюркского предводителя облегчить участь детей, находящихся почти со дня рождения в Чаньани в положении залож-

ников-аманатов, и старшего сына Ючжени в первую очередь. Монах Сянь Мынь это желание князя, не представлявшего никакой опасности, легко разгадал. Князя не мучили, не истязали, не велась речь о его казни, но беседовать с ним, окончательно оглохшим, было трудно, Сянь Мынь не однажды жаловался на подобное неудобство, скоро утратив интерес к тюркскому старейшине Ашидэ, чем, скорее всего, невольно и подписал негласный свой приговор.

Но что случилось на самом деле, почему князю окончательный приговор вынесла вдруг сама императрица, оставалось загадкой.

Возникшие вопросы для Тан-Уйгу были почему-то тревожней, чем непосредственно казнь, князь Ючжень не вызывал интереса, беседа утратила смысл, и Тан-Уйгу уставился бесчувственно в пустую пиалу.

Молчал и молодой князь.

Готовясь перенести встречу на другое время, Тан-Уйгу вдруг услышал за пределами заведения непонятные крики, топот бегущей толпы.

– Тюрки из Черных песков Алашани пригнали! Пленных тюрков пригнали! – неслись возбужденные голоса, понуждая Тан-Уйгу все-таки встать и пойти за толпой, взбудораженной происходящим за крепостными стенами столицы.

Резко поднявшись, он глухо сказал:

– Я китаец не понял, когда он делал нам знаки... Пойдем, князь, посмотрим на живых... пока они есть.

Толпа бежала к северным воротам, но ворота были закрыты, никого из простолюдинов и черни за них не выпускали, а тем, кто был достаточно знатен, известен начальникам стражей, позволяли подняться на крепостные стены.

Тан-Уйгу, как наставник наследника, был более чем известен, перед ним раскланивались особенно подобоострастно, и они с князем беспрепятственно взбежали по гулким ступеням на одну из башен над воротами.

Представшее зрелище было тягостным. Иссушенное зноем пространство вдоль реки клубилось густой желтой пылью. Пленные тюрки брели на остатках сил, сбиваясь в толпы, поддерживая друг друга, за что получали безжалостные удары плетками. Их гнали к мосту и гнали за реку, где было разбито в виде скотского загона некое подобие огражденного лагеря. Но мост, наполовину заставленный телегами, должно быть, для предстоящей вывозки трупов, стал препятствием, у него и на нем творилось вообще невообразимое. Здесь стражи, с опозданием поняв ошибку, свирепствовали особенно жестоко.

Пленные мало что понимали. Им казалось, что надо непременно идти, идти, чтобы не озлоблять конвоиров; они настойчиво лезли, толкались, не понимая, что мост, не в состоянии пропустить подобную массу, и телеги на нем основное препятствие.

Стражи бестолково орали, пытались воздействовать на толпу конями, но и кони были бессильны, затаптывая насмерть оказывающихся под копыта.

Несчастные, ослепленные страхом, лезли и лезли на мост, друг на друга. Лишь бы скорее миновать разгневанную охрану, готовую схватиться за сабли. Лишь бы проскочить мимо гневных солдат. И мало кто понимал, почти обезумев от безысходности, что лезет на мост и телеги, срываясь, летит куда-то.

Что-то должно было случиться еще более страшное последствием; в необъяснимой тревоге Тан-Уйгу схватил Ючжени за руку.

И непоправимое произошло. Не способные навести порядок иначе, солдаты пустили в ход сабли, и возникшая неожиданная резня продолжалась до тех пор, пока, не уяснив команду, пленные не легли в пыль на дорогу.

На башнях смеялись, оживленно переговариваясь.

По реке, переполненной кровью, мимо башен плыли трупы.

Ючжень первым не выдержал, кинулся вниз по ступеням.

Следом скоро спустился и Тан-Уйгу.

– Не могу, не могу! Оставь меня, Тан-Уйгу, встретимся позже...

Тяжело, трагично начавшись, день продолжал оставаться невыносимо тяжелым. Пора было возвращаться во дворец, наследник наверняка давно его спохватился, а ноги не шли, все перед ним было в кровавом тумане.

Он угадал; увидев его, принц набросился с криком и возмущением.

– Тан-Уйгу, где ты был? – шумно гневался юный наследник. – Я собирался на казнь тюркского князя, но без тебя не пустили! Ну, где же ты пропал? – досадовал принц, смущая Тан-Уйгу нестерпимо жадным, жажущим взглядом.

В последнее время наследнику позволили отращивать волосы, они топорщились, подросток метался по зале раскрасневшийся, дышавший обидой и злостью.

– Я только что с крепостной стены, мой господин. Там куда более жестокое представление, чем на помосте, где казнили немощного старика, – ответил ему Тан-Уйгу, не скрывая собственного раздражения.

– Тан-Уйгу, ты раздосадован? – Принц удивился, воспрянув новым острым желанием, часто спасительным для многих служивших ему. – Чем ты так раздосадован? Я тоже хочу увидеть!

Готовый взорваться, чувствуя разгорающуюся ярость, Тан-Уйгу крепился из последних сил, не испытывая никакого стремления возвращаться на стену и снова наблюдать, что он уже видел, и, наверное, взорвался бы, не появившись, как всегда, неожиданно мелко семенящий и сладостно улыбающийся монах, похожий на разноцветный колобок.

Он торжествовал, упивался собой. Глаза его были зорче привычного, томно прищуриваясь, почти совсем закрылись.

– Вы отправитесь завтра, принц, – сказал он сухо и будто умышленно загадочно. – Сегодня пусть наблюдают и тешатся простолюдины. Завтра, завтра! – напрягая гладкий лоб, повторил он строже, угадывая желание принца возмутиться, настоять на своем. – Тан-Уйгу подготовит необходимое сопровождение. Принц увидит еще немало. Потерпи, Ли Сянь, потерпи до утра.

– Сянь Мынь! Казнь старого князя... зачем? – не удержавшись, спросил Тан-Уйгу.

– Для начала. Как прелюдия. Настоящая музыка Великой Дочери Будды впереди, Тан-Уйгу. – Монах откровенно упивался собой, становясь для Тан-Уйгу окончательно ненавистным.

4. Стихия пьянящей расправы

Плененных большой первой партии из числа сдавшихся генералу Хин-кяню в Черных песках сгоняли в лагерь под стены Чаньани почти двое суток, и двое суток Тан-Уйгу был вынужден находиться на одной из крепостных башен рядом с любопытствующим наследником, другими принцами и принцессами. Но пригнали не всех, кто был окружен, сложил оружие в Алашани, в пристенный лагерь за рекой сгоняли наиболее крепких воинов, мелких и средних начальствующих, руководивших сотнями, полутысячами и тысячами, вызвав неудовольствие военного министерства. Для одних восстание – героизм, по крайней мере, так считает часть людей, тайно поддерживающая стихию и бунт, для других – преступление. Все чаще в отношении Хин-кяня брюзжал и монах, оказавший генералу высокое покровительство. Для него возмутившиеся были преступниками. В чем-то всегда правы и те и другие, справедливое дело на крови не замешивается, как не может иметь оправдания любое насилие и принуждение. Но кто рассудит противоборствующих по справедливости, если она вообще существует, и каким судом их судить? Есть ли способ взвесить и те, и другие преступления, как прежние незаживающие глубокие раны, причиненные не повинным, так и новые насилия, грабежи и убийства, еще продолжающиеся и вопиющие о мести?

Монах не хотел ни взвешивать, ни рассуждать в пользу восставших, он сердито, непримиримо ворчал и сокрушался:

– Сообщают, Хин-кянь разрешил сохранить зимнее поселение шамана Болу. Ему приказали все растоптать, безжалостно уничтожить, шаман перенес туда часть прежнего капища, а генерал своевольничает. Видите ли, он дал слово на сдачу князя Фуняня в плен ответить миром! Что с нашими генералами, Тан-Уйгу?

Не имея возможности возражать без опасения, проникаясь невольным уважением к генералу Хин-кяню, и его человечности к пленным, Тан-Уйгу насуплено отмолчался.

Когда переправа несчастных завершилась, наследник потребовал посещения непосредственно лагеря, что Тан-Уйгу сделать было вовсе непросто, и он с еще большим страданием и смятением почувствовал, как ему будет трудно там, среди измученных соплеменников; выручил монах, предложив немного подождать и дожждаться более важных пленников.

– На подходе другая колонна, принц! Ведут более знатных воинов, захваченных генералом Жинь-гунем в Ордосе, тогда и посмотришь, – настоял монах, намекая, скорее Тан-Уйгу, чем принцу, что в столице намечается грандиозное кровавое представление.

Но ужасное грандиозное и без того уже развернулось. По решениям судебного ведомства, военных инспекторов и цензоров-прокуроров на мосту через Вэй начались массовые казни, посмотреть которые съезжалась вся столичная знать. Это был будто бы какой-то ритуал, важная государственная необходимость одним – убивать и казнить, другим – наблюдать и упиваться. Работы у палачей хватало, но мало кто понимал, да и не думал об этом, кому нужна настолько дьявольская работа, совершавшаяся размеренно, с деловым рвением дровосеков.

Усердие добросовестного палача-убийцы! Восхищение и опьяняющая страсть праздных наблюдателей за действиями палача! Добросовестное прилежание чиновников, судей, приговаривающих новых и новых заговорщиков и возмутителей к обезглавливанию! Всё было дико, омерзительно, вызывало протест, хотя, свершалось и ранее, особенно не затрагивая и затронув настолько сильно тем, что не считано и безжалостно убивали его соотечественников. Несчастных просто, бросали на плаху-чурбан, отсекали головы, отправляя отдельно возами в корзинах с верхом, как возят арбузы. Куцыми обезглавленными обрубками в рваных и вовсе не рваных одеждах, наполняли сотни и тысячи других телег и повозок, громыхающих встречными веренищами по каменистым улицам, работы хватало.

Казни на мосту были доступны не только взорам горожан и знати, наблюдающим за происходящим с крепостных стен, они оказывались в поле зрения лагеря за рекой и первые дни сопровождались тысячеголосыми тюркскими проклятиями, достигавшими стен города. Готовые умереть достойно, непосредственно в битве, как воины, сошедшись грудь в грудь с противником, они не хотели унижительно и позорно умирать на колоде и плахе.

Правда, дико и гневно кричали они только в первые дни, лагерь скоро словно бы что-то понял, смирился и наблюдал совершающееся в глухом оцепенелом онемении.

Как ни странно, но человек перед насильственной кончиной, в предчувствии последнего мгновения жизни, страдая и мучаясь телесно и духовно, иногда и побуйствовав в предчувствии неизбежного, обретает оглушающую покорность судьбе, и Тан-Уйгу будто бы не хотелось, чтобы его соплеменники завершали свою жизнь подобно баранам на бойне. Ему тайно хотелось до стога в груди, чтобы они... взорвались, объединенные испепеляющей яростью и снизошедшим на них Божьим гневом. Он готов был умереть вместе с ними. Исполни они его воспаленное ожидание, сам пристал бы к ним без раздумий и колебаний.

Но, умея многое постигать и оценивать, собственную смерть человек осознать не способен. Нет у него таких чувств, чтобы увидеть себя уже не живым, не существующим, и этим в последний раз яростно возмутиться. Все истекает и утишается его глухим отупением и равнодушием, небытия, как чувства и ощущения, природа в него не вложила...

Вскоре, чуть меньшей колонной, изнуренной дальним переходом, пришли тюрки, закованные в кандалы по приказу генерала Жинь-гуня. В основном это были старшины, старейшины, прочая мелко-средняя знать Ордоса, Шаньси и Шэньси.

Отдельно, в личном эскорте генерала, следовал Выньбег. Его, грязного, в изорванных кожаных одеждах, с волосами, торчащими в разные стороны сухими черными прутьями, внушающего страх физической силой, везли на коне без седла. Тюркский вождь со связанными руками, посаженный лицом к лошадиному хвосту, вызвал небывалую волну мятущегося возбуждения.

– Тюрка-вождя! Предводителя-тюрка везут! – закричали на воротах, когда Тан-Уйгу был с наследником на крепостной стене, и того, как закричали, оказалось достаточно, чтобы понять необычность происходящего.

Посмотреть на жестокого бестию и безжалостного разбойника, которым в Чаньани запугивали младенцев, способного разорвать, расчленив и женщину и ребенка, мгновенно собралась большая толпа. Заметней других незначительных групп сразу же выделилась шумливая стайка полуголых красоток вызывающего поведения в звериных шкурах и с музыкальными инструментами в руках. Это были девицы известного в старейшем музыкальном училище города общества-братства, о котором ходило немало пугающих противоречивых слухов.

Тюркский воин произвел сильное впечатление, лишившее беснующихся амазонок всякой сдержанности. Сбившись в плотную группу, не позволявшую вклиниться чужаку, бесцеремонно вышвыривавшую такого нахала из сплотившихся рядов, полуголые девы непристойного поведения дико кричали, бесились, пытались исторгать из музыкальных инструментов разнообразные звуки, противные нормальному слуху, совершали вызывающе оскорбительные телодвижения, далекие от изящества. Они, хорошо известные городу, прежде вызывающе расхаживающие по улицам под шум и трескотню визжащих и хрипящих дудок, флейт, бамбуковых свистуллек, часами толпившиеся на мосту казней, всюду мешавшие движению телег и повозок, дружно последовали за генералом и важным пленником, усиливая уличную вакханалию. Не скрывая высокомерного презрения, они больше других упивались страданиями тюркского предводителя, дразнили его, трещали, пищали, дудели в дудки, били, просто били по струнам инструментов.

Полный напыщенности и тщеславия, генерал был доволен подобным стихийным приемом и тихо шепнул встретившему его на городских воротах военному министру:

– Девы из братства, У-хоу им покровительствует. Продлим удовольствие городу.

– Да, да, – легко согласился военный министр, – я прикажу провести твоего дикаря по всей столице. Продолжим, продолжим! Прекрасная мысль, генерал, Солнцеподобной может понравиться!

Девы бесстыдно кричали:

– Генерал, ты победил первобытного дикаря, ты настоящий мужчина, не хочешь ущипнуть меня в попку?

– Красавчик Жинь-гунь, мы тебя любим!

– Если великая У-хоу не впустит больше в свои покои, приходи к нам!

– Генерал, тюрка дашь нам на одну ночь?

– Только на ночь, генерал! Умрет, не познав настоящей ласки на шелковых покрывалах.

Бега, сопровождаемого праздной толпой зевак, и теми же девами из музыкального училища, возили по кривым улицам и площадям три дня, взбудоражив город, давно не видавший подобного зрелища и едва ли понимающий толком, что произошло где-то на северных рубежах отечества. Насытившись многочисленными безликими казнями, толпа с особенным наслаждением упивалась истязаниями одного могучего тюрка, с каждым днем теряющего силы у них на глазах. Под ее упоенный поощрительный рев бега секли хвостатыми плетками, подкалывали пиками, сдергивая с коня, принуждали бежать, связанного цепями, за телегой. Долго возили на окровавленной повозке распятым на закрепленном столбе с перекладной.

К исходу третьего дня ничего человеческого в тюрке не осталось. Ноги его совсем не держали, кожа спины, плеч, рук, исеченная изощренными стражами, свисала ключьями. Бег истек кровью, его уже только возили, сам он сделать не мог ни шага.

Местом казни Выньбегу была назначена Восточная площадь, где происходили наказания бродяг и разбойников и куда процессия с бегом, сопровождаемая огромной орущей толпой, добралась только к вечеру третьего дня. Тюрка волоком втащили на помост. Помучив и истязав на удовольствие публике, ему, как вору, отрубили правую руку и, оставив истекать кровью, привязали к столбу пыток.

Возбуждение всякой толпы, стихийных скопищ и групп – явление неоднозначное и свое нравное. Шумливая полуголая стайка расставаться с Выньбегом не торопилась и, когда опустились сумерки, девы устроили новый садистский спектакль. Прямо на залитом кровью помосте.

Это было неприятное и неприличное представление, на которое едва ли способен самый изощренный дикарь, но на которое с легкостью способно пойти подобное, вошедшее в раж сборище развращенных единомышленниц.

Сорвав остатки рваных одежд с полуживого бега, истекающего кровью капля за каплей, как было предусмотрено безжалостным палачом, под рев толпы скинув свои шкуры-накидки, напяливая и подражая человеческой первобытности, они устроили на помосте настоящую и бесстыдную оргию собственной необузданности.

Они словно блаженствовали в этом развращенном бесстыдстве, выплеснувшись на городские улицы, приводя ночную толпу в иступление.

Они упивались страданием полуживого бега с бессмысленным взглядом, дразнили, когда бег приходил ненадолго в чувства, поднимая запекшийся обрубок руки, обожженной факелом стражей и отмахиваясь точно от бесов, дергали за все, за что только можно подергать и потрогать любопытного в мужчине.

Под конец они оказалась почти совсем нагими, словно дикарки в набедренных повязках из узеньких звериных шкур. Они радовались тому, что бесстыдно нагие, снова трещали, пищали, дудели, били по струнам инструментов.

И все же это было для них не совсем наслаждением, как не могло быть и проявлением истинно женского естества – наблюдавшему незаметно за происходящим на площади и на помосте Тан-Уйгу было их жалко.

Да и было ли это женское естество, способное и нежно любить, и страдать, и сочувствовать – мир нередко противоестествен в самом святом для себя проявлении совести и морали и куда более безобразен и гадок, чем способен казаться. Скорее, это была обычная стихия какого-то разгульного протеста, понятного лишь его участницам, не знающая границ. Попытка таким вот сверх разнузданным способом обострить собственные чувства, давно притупившиеся в том же самом разврате вольного и порочного братства.

«В монашеской Чаньани бесчислен запретов, время от времени, вызывающих протест не только отчаянных девиц. Разве это первое выступление подобного рода, о чем известно непосредственно императрице?» – подумал вдруг Тан-Уйгу, вроде бы раздосадованный происходящим на помосте для казни и пытающегося найти ему оправдание. И тут же ожила мысль, что Чаньянь давно живет разрозненными противоречивыми слухами о войнах, которые всем надоели, как и ему.

Войны! Кругом только войны, не остающиеся без последствия в обыденной человеческой жизни. Особенно надоело затянувшиеся кровопролития в Западном крае и на Тибетской линии. Своими оглушительными сообщениями о тяжелых поражениях, они нагнетают в обывателе постоянный страх, поселяя и укрепляя в нем обреченность, мысль о неотвратимой беде и новых наборах в армию.

Наиболее затянувшаяся многолетняя война на Тибете, проглотившая бесследно большую часть здорового молодого поколения, всем, включая расхристанных, бесстыдных валькирий, большинство которых происходило из приличных семейств, была болезненней, ощутимей других подобных кампаний. Она становилась опасной устойчивым постоянством, неизбежными новыми жертвами, обнищанием многих достойных семейств. Так или иначе, но с ней за минувшие годы как-то смирились. Зато победы на севере, подавление тюркского восстания в Ордосе и Алашани рождало во всей Чаньани иллюзию торжества и собственного величия. В последние дни в пагодах, кумирнях, прочих местах столичных священнодейств громкоголосо зывали и проклинали. В общественных и увеселительных заведениях пили и бранились. Толпами сбиваясь на грязных узких проездах, текли крикливым скопищем к северным воротам столицы, к мосту через Вэй, чтобы снова и снова посмотреть на грязных степных дикарей, пресытиться новыми казнями. Пыльный запущенный город жил предощущением близких новых жестокостей, скорым обилием куда большей крови, чем оросившая берега Вэй, как, может быть, более чувственно жили разнузданные жрицы свободных нравов из музыкального училища.

Но мысли Тан-Уйгу были неловкими, оправдания девушкам не находили, рисуя другие картины поведения женщин других достоинств живущего в веках. Одна из них вдруг словно бы замерла перед ним, перестала метаться, потекла ровно, словно бы оживая. И он увидел другую толпу женщин, отворивших ворота полуразрушенной, догорающей крепости, сильную предводительницу, вышедшую первой под стрелы врага. И малых детей, сбившихся в кучу, самоотверженно закрываемых другими женщинами поверженного, пылающего города.

– Князь, сегодня погиб наш последний мужчина-защитник и сражаться с тобой больше некому. Остались в живых только малые дети, не способные держать ни лук, ни саблю. Мы оставляем тебе крепость, утварь, жилища. Если чтить какой-нибудь кодекс воинской чести, пропусти нас и наших малых сыновей, но помни, они могут вернуться, поскольку пепелища прошлого и прах отцов будет вопить в их сердцах, возмужавших однажды, и призывать к возмездью.

Полгода осаждая непокорную крепость и сломив, наконец, сопротивление противника, напыщенный победитель не внимал осмысленной речи женщины, не слезая с коня, усмешливо произнес:

- Ты не все нам оставила, женщина.
- Что мы уносим, не отдавая тебе? – удивилась женщина-мать.
- На каждой из вас остается одежда, сложите к моим ногам.
- Князь, нас уже ничем не испугаешь, мы не побоимся предстать нагими перед тобой.

Но с нами, князь, посмотри! Наши сыновья: мальчишки и отроки! – воскликнула возмущенная предводительница.

- Право выбора за тобой, – потешался нахальненький князь.
- Князь, ты поступаешь неумно. Мы, матери, легче забудем позор, но дети...
- Другого решения не будет, – перебил ее предводитель когорт, осаждающих крепость.
- Да падет гнев богов на одну меня! Во имя детей покоримся, – сказала властная женщина

тем, кто был у нее за спиной, оборачиваясь к ним и низко кланяясь.

Она первой разделась донага. Помедлив, и другие разделись. Воины расступились. И никто из них, в отличие от вождя, бесстыдно не пялился на женскую наготу, суровые воины отворачивались.

Прошло почти два десятка лет. Однажды опозоренная жена погибшего князя появилась с тремя подросшими сыновьями и с немногочисленным войском у стен той же крепости. Битва была жестокой, погибли два ее юных мальчика, но войско мужественной предводительницы победило.

К ней подвели плененного князя.

– Князь, – сказала она, не стыдясь своих траурных слез, – ты развязал с моим господином и моим земным богом войну. Ты пришел и убил моего мужа. Убил двух моих сыновей. Какой кары ты ждешь?

Князь молчал. Тогда женщина спросила:

– Сможешь ли ты предстать перед своими женами и дочерьми, не потеряв стыд воина без всяких одежд?

Князь упрямо молчал.

– Хорошо, князь, ты не можешь, но ты и не умер достойно воину, предпочтя плен. Ты на что-то рассчитывал или ты просто труслив?

Князь молчал, и женщина-воительница обратилась к его женам:

– Кто из вас ради мужа-убийцы готов поступиться тем, чем поступились мы, спасая наших детей?

– Ради мужа верная жена пойдет на все, я готова, – ответила самая старшая.

– Ты благородная и верная жена, но у тебя взрослые сыновья, их стыд будет другой, чем стыд ребенка. Забирай своего мужа и уходи. Пусть все узнают, что такого воина больше нет на земле! Остальные жены его... Похоже, им все равно, с кем дальше жить, – я одарю ими слуг и рабов...

Об этой женщине поэты сложили легенду, назвав ее «Цветок, врачующий душу». Тан-Уйгу давно познакомился с прекрасной легендой и успел позабыть, но она вдруг пришла сама по себе, возбудив его тем, что имея полное право на жестокость в отношении поверженного врага, женщина из далеких времен проявила благородство. О ней – женщине-воительнице, отмстившей за честь мужа, и женщине-матери, потерявшей в судьбоносном сражении двух сыновей, – будут помнить всегда, но кто вспомнит об обнажающихся, как в угаре, молодых сильных кобылицах, утративших стыд и воздержание? Неужели плотское станет когда-то обычной утехой, способной затмить глубину настоящего чувства?

Конечно, неразумным бесшабашным поведением они бросают вызов. Но ведь распущены и развратны, а добровольному бесчестию оправдания не бывает...

С ним что-то происходило, начавшись у помоста с обезглавленным князем Ашидэ и продолжившееся под воздействием сотен и сотен тюркских смертей у крепостных стен китайской Чаньани. Въедливое и назойливое, похожее на далекий комариный писк, перерастающее

в оглушительный рев толпы, убившей Выньбега. Мысль, что и ему, состоящему на службе империи, скоро может не найтись оправдания, набегала издали, как туман. Тан-Уйгу справлялся с ней, отпугивал, не давая окрепнуть. Но надолго ли?

* * *

Бег умер к утру.

Умер тихо, покорно, просто капля за каплей истек.

Оставаясь никем незамеченным, Тан-Уйгу видел, как он умирал, следил до последней минуты, словно бы спешил хоть что-то у него перенять.

Доставленных в обозе генерала Жинь-гуня старшин и старейшин тюркских родов и поколений, представляющих не то какую-то государственную опасность, не то другой интерес, загнали в крепостные подземелья, дав начало шумным чествование генерала Жинь-гуня и его доблестного штаба на городской площади.

Оно длилось весь день и закончилось появлением императрицы под балдахином. Горели тысячи факелов, звучали тысячи флейт и струнных инструментов, больших и малых барабанов, длинных и коротких труб, тростниковых свирелей, что бывает совсем не часто и только по самым большим торжествам. Замысловатые танцы-феерии исполняли тысячи юных дворцовых красавиц и танцовщиц.

Императрица, окруженная гвардейцами и монахами, овеваемая опахалами, надменная и высокомерная, поднялась, но балдахина не покинула, позволив себе подарить склонившемуся перед нею генералу-фавориту нечто похожее на поощрительную улыбку, вызвав новую бурю восторга.

Генерала Жинь-гуня чествовали еще несколько дней, но генерала Хин-кяня держали за городом, не объясняя причин.

Хин-кянь нервничал, его мужественное лицо, обожженное пустыней, было хмурым. Когда появляющиеся в его лагере военные чиновники-посыльные пытались доброжелательно втолковать, что генерал совершает ошибку, продолжая держать при себе плененного князя Фуняня, не отсылая к У-хоу, он с достоинством отвечал:

– С князем Фунянем у меня заключен договор, я его выполняю. Я представлю князя Фуняня великой У-хоу лично и буду, как повелевает мой долг, настаивать на пощаде. Упрямец путал все карты развернувшегося величия и торжества, вызывая неприязнь царствующих особ и царедворца-монаха.

Тихое противостояние длилось ровно через неделю, пока воздавались шумные почести генералу Жинь-гуню, и только потом наступила очередь генерала Хин-кяня, получившего разрешение войти в столицу. Вызывая возмущение, рядом с ним в седле следовал тюркский хан-пленник при личном оружии, сопровождаемый несколькими нукерами и женами в обозе. Единственное, в чем оказался унижен тюркский вожак, – его лишили права быть в ханском головном уборе. Его меховую округлую шапку с камнями, золотыми фигурками зверей и животных, перепоясанную по верху витыми золочеными шнурами толщиной в палец, стражи везли вздетой на пику.

Непокрытая голова хана-пленника встрепанные жгуче-смолянистые волосы были не то наполнены песка, не то поседел. Генерал иногда наклонялся к нему, что-то говорил, вроде бы улыбался, словно позабыв, что улыбается врагу великой империи, беспощадной к тем, кто ей изменяет. Князь Фунянь в ответ кивал, как бы поддерживая в чем-то и соглашаясь.

Подобная вольность на глазах у столицы не могла не задеть недоброжелателей, и они незамедлительно проявились, засвистев и заулюлюкав. Особенно неистовствовала группка тех же самых, набежавших на кортеж длинноногих девиц в странных, наполовину тюркских, наполовину китайских одеждах, с музыкальными инструментами, издающими далеко не благозвучные мелодии, которая несколько дней назад безудержно восхищались генералом Жинь-гунем.

Рыжеголовым красавцем Жинь-гунем!

– Кто эти, настолько мне непонятные? – не без удивления спросил тюркский князь.

– Есть в Чаньани такое общество вольных девиц, желающих отведать нового брата, – небрежно обронил генерал, сохраняя величие и спокойствие.

– Почему они гневом встречают тебя, генерал? – разобравшись в происходящем, не без удивления спросил князь.

– Потому что ты не связан, не сидишь лицом к хвосту своего коня, как был представлен толпе генералом Жинь-гунем твой сподвижник Выньбег. Потому что я признаю в тебе воина, а им нужно видеть сумасшедшего дикаря, – с легкой усмешкой ответил Хин-кянь.

– Ты победил, этого мало? – снова спросил седеющий тюрк.

– Тебе неизвестно, что победителем иногда провозглашается вовсе не тот, кто ходил в битву, а тот, кто за ней наблюдал, только мешая советами? Вдали от Чаньани я мало что понимал и только теперь... Мы плохо слушаем прошлое, князь, не черпаем из него хорошее и не отметаем плохое.

– Да, в другие времена, генерал, мы могли бы вместе ходить в походы.

– Я знаю, Фунянь, так уже было полвека назад, но я все же китаец, – незлобно проворчал генерал, смущаясь невольной своей откровенностью.

Князь оценил ее, поспешно произнес:

– Генерал, ты дрался со мной достойно, сдержал слово, позволив многим моим соплеменникам остаться в лагере, который сооружен прошлой зимой! Не бери на себя большее, я знаю коварство зависти и знаю, как на твоём месте поступил бы другой. Не стоит щадить, я удовлетворен, как ты обошелся со мной. Не трать больше усилий, которые обернутся против тебя. Ты и я лучше других знаем конец подобным кровавым событиям, прими мою искреннюю благодарность.

– С воином – я воин, с пленным князем – я всегда князь! – произнес Хин-кянь, и они замолчали.

5.С восстанием покончено

Победителей не всегда только любят и превозносят; плохо бывает и самому победителю, если он утрачивает должную осмотрительность и разумность в поведении или вовсе ею пренебрегает. Об этом Хин-кяню и заявил сердито монах, первым удостоившего его посещением.

– Почему ты беспечен, Хин-кянь? – спросил угрюмый священнослужитель Будды, поздравив генерала с окончанием славного похода. – Не хочешь остаться при дворе... как Жинь-гунь?

Монах сделал паузу, смысл которой мог оказаться двояким, насторожив генерала.

– Сянь Мынь, я знаю, чем обязан тебе, благодарю за все, что ты сделал, но мне не дано быть... при дворе. – Хин-кянь оставался холодным, погруженным в себе. – Да и походов, подобных совершенному, я более не хочу.

– Беспечность! Какая беспечность! Достигнув победы, ты упускаешь плоды! – излишне шумливо возмутился монах.

– Я уничтожил способных преданно служить Поднебесной, Сянь Мынь, неужели по сегодняшней день ты не можешь понять настолько простого!.. К тому же, меня насмешливо известили, что голове князя Фуняня определено место во Дворце Предков рядом с головой Нишу-бега. Сянь Мынь, сложились все иначе... Будет эффектно выглядеть – сказали. Но, моча бешеной ослицы, таких отважных подданных, недавно служивших Тайцзуну не за страх а на совесть, у Поднебесной больше не будет!

– Головы Нишу-бега и старейшины Ашидэ наводят ужас на посетителей, многие желают видеть рядом и голову третьего смутьяна! С мертвого снять, в песках, или с живого – в Чань-ани... – Монах смутился.

– Сянь Мынь, тюркский князь прекратил сопротивление, получив мое обещание сохранить жизнь ему и его сподвижникам, иначе они бы не сдались никогда. У князя была возможность, бросив женщин, детей, вырваться и уйти, как ушел какой-то тутун с дюжиной нукеров. Я встретил достойного в решимости. Увидел перед собой не толпу, не безумцев, не наемные корпуса и дивизии, не озверелые шайки дикой орды, как думал вначале, а народ в отчаянном единении. Шамана, который сказал старикам: давайте тихо уйдем, сейчас мы лишние. В какой-то момент мне стало трудно их убивать. Я дал слово, Сянь Мынь, во благо, не во зло. Почему меня унижают моим словом солдата?

– Возможно, ты поспешил, отважный генерал Хинь-кянь. – Монах выглядел слегка смущенным, но не более, и не хотел понимать генерала, которому, составляя проекцию, недавно еще пытался открыть дверь в покои повелительницы.

– Решая судьбу кампании, только военачальник способен принять окончательное решение! Я принял, положив конец северному возмущению степного народа! Как же я поспешил? Оставьте меня на границе, и я обеспечу Китаю покой на десятки лет вперед.

– Хин-кянь, мы будем еще говорить с благосклонной к тебе Великой У-хоу! Соберется большой императорский совет, но власть на нее генерала Жинь-гуня сейчас выше моей, будь готов ко всему, ты не должен себя так вести. – Голос монаха надсел и слегка дрогнул, Сянь Мынь говорил неискренне, неожиданно добавив с лукавым блеском в узких глазах: – Но я всегда рядом, лишь пожелай и окажешься в благоухающих садах... Генерал не хочешь вернуть упущенное в упрямстве?

– Я хочу в новый поход! – прерывая монаха, отмахнулся сердито Хин-кянь. – На Иртыш! В Тибет! На горные земли Теплого озера в Западном крае! В Мавераннахр! Выбери сам и отправь!

– Вспомни судьбу знакомого нам воеводы и прояви осторожность: твоя судьба только в твоих руках... Может быть, навесить Великую У-хоу в ее божественной опочивальне и вос-

становить ее благорасположение? – Без особой настойчивости монах мягко коснулся руки генерала.

– В постели! После всех... – Глаза Хин-кяня расширились до предела, наполнились бешенством.

– Будь осторожен! – Голос монаха враз накалился, в нем зазвучала угроза. – Я служу не тебе и если благоволю... – Монах задохнулся, мелко закашлял.

– Я не хотел, Сянь Мынь! Распоряжайся своей, мою честь не затрагивай! – обронил генерал, понижая голос и гнев.

– Можешь сражаться саблей, иди и сражайся, я помогу. Но пора научиться побеждать не только диких тюрок да тюргешей. Повторяя судьбу воеводы Чан-чжи... Подумай.

Монах был оскорблен, не попросившись, торопливо покинул упрямого Хин-кяня.

Приемы на всех уровнях для генералов-победителей ненавистных тюрок следовали один за другим, и все они оставались будто не очень существенными, второстепенными, как бы что-то предваряющими. Хин-кянь вел себя сдержанно, на удивление спокойно, не испытывая неудобств и смущения, которые испытывал на прежних приемах до похода на север, ни перед кем не заискивал, как заискивал прежде, не искал покровителей. В его поведении внешне мало что изменилось. Он оставался, как был, по-солдатски размашист и неуклюж, угловат в движениях, подчеркнуто прост в одежде. Совсем не думал о сабле, которую иногда среди льнущих к нему дам и строгих вельмож нелишне было бы немного придерживать, или с изысканным намеком на собственную значимость и геройство, эффектно поглаживать рукоять. Как умело поступал тот же генерал Жинь-гунь, разодетый и расфуфыренный далеко не по-генеральски. Усвоив уроки прошлого в дворцовых интригах, Хин-кянь оставался самим собой, став центром всеобщего внимания как тех, кто к нему благоволил, так и готовых кинуть насмешку. Но взгляд его оставался наполненным такой холодной презрительной твердостью, такой внутренней собранностью, что желающих, как прежде, посмеяться над ним не находилось.

И только при редких встречах с Сень-ю душа его давала сбой, наполняясь парящей легкостью, Хин-кянь пытался оказаться как можно поближе, не спускал с нее глаз. Сень-ю делала знаки, упреждающие всякую его поспешность, и не позволяла слишком приближаться, в последний момент вообще ускользала. Лишь однажды на протяжении нескольких дней пребывания во дворце личная служанка и доверенное лицо императрицы на мгновение оказалась в его объятиях. Случилось это среди темной ветреной ночи, она появилась, как тень, и скоро бесшумно исчезла, шепнув на прощание:

– Мой полководец, откажись от меня, иначе мы оба погибнем... Я не смогу не выполнить приказание моей повелительницы, и умереть не могу, пока ты живой...

Смертельным холодом дышали ее слова, которым, тем не менее, генерал не придавал особого значения – что ему смерть, он с ней в обнимку чаще, чем с женщинами!

Когда был назначен военный совет с подведением итогов кампании, окончательным решением судеб победителей и побежденных, Хин-кянь сам отыскал монаха.

– Как решается с ханом, Сянь Мынь? – спросил он устало. – Не скрывай от меня.

– Завтра услышим... Генерал Жинь-гунь и военный канцлер едины: тюркского князя лучше казнить.

– Сянь Мынь, князь – умный вождь! Сколько у нас возвеличено бездарных и глупых! Недавно ты сам настоял сохранить жизнь тюркешскому хану, которого я привел на аркане как паршивую собаку! Князь Фунянь важнее этого самозванца, а тюрки, запомни, совсем не подошли. Не можешь сохранить князя, спаси мою честь! Это ты можешь?

– Без твоей помощи – нет, – сказал резко монах, уводя в сторону взгляд.

– Тогда я подам в отставку!

– Сильнее рассердишь У-хоу.

– Да что же, в конце концов, у вас происходит!

– Как всюду при высоких дворах, как всегда, – монах скучно усмехнулся. – Особенно, когда правительница стареет, генерал. У каждого свои сражения... и личные пристрастия.

– Но я не желаю...

– Тогда готовься...

– К чему, Сянь Мынь? К чему? Что замылся? Чем еще напугаешь?

– Изгнанием! – сердито воскликнул монах.

– Ссылка?

– Безвестием!

– Сянь Мынь!

– Я сказал.

– Доверь бригаду, дивизию, корпус!

– Не упрямясь, умерь гордыню. Лучше бы тебе оставаться, каким ты был до похода...

Тогда ты был просто глупцом, а сейчас! Твоя слава хуже иной заносчивости.

– Я отдал ее придворному фавориту, позволив поймать Выньбега. Знаешь, как было на самом деле? Имея возможность расправиться с тюрком в два счета, я позволил ему вырваться из окружения и сообщил Жинь-гуню. Не имея воды и припасов, куда он мог деться, генералу пришлось отличиться.

– Славу отдать невозможно, она навечно, Хин-кянь. О Жинь-гуне говорят не потому, что он прославился где-то в Ордосе, Черных песках Алашани или на Тибетской линии... Глупец, У-хоу в ярости, когда видит, как ты приближаешься к ее служанке. Зачем ты встречался с Сень-ю?.. Не заметят? Молчишь? Тогда есть лишь одно, следуй за мной и молчи дальше. – Монах решительно вцепился в руку Хин-кяня, потянул за собой.

– Куда, Сянь Мынь?

– Следуй, пока не поздно! Следуй, глупец!

Не отпуская генерала, монах семенил незнакомыми Хин-кяню переходами дворца, но генерал опять заупряился, вдруг уперся, как уставший бык.

– Остановись, Сянь Мынь! Лучше в изгнание, я не могу.

– У тебя совсем нет мозгов? Подставляя себя, ты и меня подставляешь! Я за тебя поручился, вспомни!

Ловко рубясь саблями, на них выскочили наследник и рыжеволосый Дэ. Следом, скрестив руки на груди, шествовал тюрк-наставник Тан-Уйгу.

– Сянь Мынь, мне привели генерала-героя! – Приветствуя Хин-кяня, принц вскинул саблю, прижав рукоять ко лбу, как учил наставник и, от удовольствия покраснев, громко сказал: – Я хотел с тобой говорить, генерал, пойдём.

– Принцу положено говорить: следуй за мной, – поправил наставник.

– Хорошо, Тан-Уйгу! Следуй за мной, генерал, расскажешь о последнем сражении, – отреагировал живо наследник

– Принц, генерала Хин-кяня ожидает великая императрица, – строго вмешался монах, пытаясь перехватить юношу стремительного в движениях и достаточно развившегося телом.

– А-аа, у нее Жинь-гунь, она вас не примет, – простовато воскликнул наследник, хватаясь за руку генерал. – Пойдем, пойдём, Хин-кянь! С тех пор, как я увидел Желтую реку, кишашую тюрками, я многое понял в твоей великолепной стратегии наступать, притесняя! Потом Тан-Уйгу показал, как берутся самые надежные крепости. Но все, что было на Желтой реке, мне снится до сих пор, я хочу подобной победы! Пойдем, почему ты упрямишься? Хана-тюрка казнят завтра? Ты будешь на мосту казней? Мы с Тан-Уйгу и Дэ непременно! А где хана казнят? Разве, не на Дворцовой площади, где недавно казнили князя Ашидэ? Давай пойдём вместе, Хин-кянь! Ты будешь в моей свите, соглашайся!

– Принцу известно решение великой повелительницы Поднебесной о казни хана Фуняня? Оно уже принято? – сухо спросил генерал.

– Оно будет принято, когда пожелают военный канцлер и Жинь-гунь! – Принц непри-
нужденно засмеялся.

– Принц любит смотреть, как рубят головы храбрым военачальникам и предводителям? –
с внутренним содроганием, тихо спросил генерал.

– Смерть ханов, говорит наш историограф, – смерть целых эпох! – воскликнул принц. –
Тан-Уйгу согласен, а ты, генерал?

– Бывает, как считает ученый историк, – сникая, произнес генерал, – но бывает и смерть
с неожиданными последствиями, лишь усиливающими эпоху, которую мы спешим объявить
умершей.

– Со смертью генерала Фуняня тюрки наконец-то перестанут существовать! – Глаза
принца горели огнем. – С ними покончено навсегда.

– Кто так сказал, – удивился Хин-кянь, – ученый историограф?

– Нет, что ты! Генерал Жинь-гунь!

– Принц в это верит?

– Конечно! Ты и Жинь-гунь совершили великий поход, умиротворивший народы древней
Степи, навсегда избавив мою империю от злобных врагов.

– А как быть с твоим наставником, которого ты, кажется, любишь? Тан-Уйгу тоже тюрк,
и он, как я понимаю, дорог тебе и останется жить!

– Он мой учитель навсегда!

– Все же он тюрк! Вот он, смотри! Он рядом с тобой и со мной! – настаивал генерал,
заставляя нервничать монаха, – а ты утверждаешь, с тюрками покончено

– А-аа, какой Тан-Уйгу тюрк? Он китаец давно, правда, Уйгу? – Принц был весел,
не испытывая волнения или неловкости.

– Он отказался называться тюрком? Предал родивших его отца и мать? Ты спросил, кем
он желает остаться?

– Он служит мне, он все равно, что китаец! – настаивал наследник, вскинувшимся взгля-
дом на Тан-Уйгу требуя подтверждения. – Да, Тан-Уйгу?

– Принц, судьбе было угодно, чтобы я родился тюрком, – глухо и трудно выдавил гвар-
дейский офицер-наставник.

– Любого, кто рядом со мной, как ты, Тан-Уйгу, я прикажу считать китайцем, – не сда-
вался наследник.

Хин-кянь, вскинув усмешливый взгляд на Сянь Мыня, поспешил отвернуться: лицо
монаха было серым от гнева.

* * *

Когда-то исполнение смертных приговоров в Китае совершались на закате дня – день
истекает в кровавом зареве все сильного солнечного пожара и завершается чья-то никчемная
жизнь, – или ночью и в тайне, чаще, под личным присмотром У-хоу. Обычай рубить головы
на рассвете ввел Сянь Мынь, убедив императрицу в том, что в этом случае преступник должен
испытывать особенный ужас...

С князем Фунянем расправились на рассвете. Как равного с другими тюрками, при-
говоренными к смерти на это утро, и ничтожного, князя Фуняня казнили на мосту через
Вэй, просто отрубив ему голову. Присутствующие непосредственно в двух шагах от места
казни и на башнях крепости не успели разобраться, кто из десятка умерщвленных, переодетых
в рубища, был знатным князем и тюркским ханом.

Дергая наставника за руку, принц Ли Сянь возбужденно допытывался:

– Ну, где этот хан, я плохо вижу. Ну, кто из них главный, Тан-Уйгу? Почему нам нельзя
подойти ближе?

Приблизиться к чурбакам, на которых рубят головы его соотечественникам, Тан-Уйгу никто не препятствовал, просто не было сил. Ему недоставало ни желания, ни мужества на такой шаг, но князя Фуняня он из виду не выпускал до последнего.

У колоды стояла жуткая тишина. Ни один из приговоренных не издал ни звука.

По знаку палача очередной тюрк делал шаг, два могучих помощника главного исполнителя совершаемого изуверства, срывали с него тряпье, ставили на колени, пригибали голову к чурбаку-плахе.

Князя с первого раза пригнать не смогли: не то, чтобы хан как-то противился, нет, устремленный взглядом в сторону севера, он, кажется, не сразу понял, что требуют от него стражи.

Подчинившись, наконец, он и голову положил глазами на север.

Голова его седовласая отскочила легко, будто игрушка, как у всех.

6. Волчья гулянки

Волки уже загуляли, пора бы Сувану вернуться, но пожилой нукер не появлялся. Гудулу часами просиживал на обрыве, всматриваясь в далекое урочище и дебри, заглотившие два месяца назад толстого, медлительного, расхаживающего на раскоряку воина с добродушным лицом, и был угрюм.

Ночью волки подрались, по-видимому, схлестнулись из-за волчицы. Слушая яростную грызню, рык внизу, в зарослях под скалой, обильных живностью, Гудулу говорил Кули-Чуру, также хмурому, не менее уставшему от зимнего безделья и собственных размышлений:

– Видишь, как у зверей, грызутся по поводу и без повода. Сейчас – за самку, но прижмет, схватятся из-за паршивой кости. Так живет вокруг все живое, готовое вцепиться в чужое горло и выпить всю кровь. Не знаю, но мне иногда страшно, я раньше столько не думал, как этой зимой – на морозе, видишь, как думается, мозги закипают не хуже, чем в казане с кипятком.

Кули-Чур сохранял молчание, и мысли в нем были самые, что ни на есть простоватые. Далеко не уносили, все где-то рядом, возвращаясь и возвращаясь на озеро Косогол в предгорьях Саяна.

– Ты за женщину серьезно когда-нибудь дрался, Кули-Чур? – нисколько не удивляясь возникшему вопросу, спросил тутун и словно бы похвалился: – Я – ни разу.

Эта была неправда, дрался он и за женщину. И вовсе не ради высоких чувств к ней. Просто однажды у него попытались отобрать обычную пленницу, и он едва не зарубил офицера, возмнившего о своей офицерской вседозволенности, за что понес наказание. Собственно, сама женщина была не причем. Сказать хотелось совсем не об этой ничего не значащей в его жизни женщине, вдруг пришедшей на память в то самое время, когда где-то, справляя звериные страсти, злобствуют волки. Ему показалось, что, ожидая Сувана, вестей из урочища шаманки, сам стал похожим на волка-одиночку, и тяжело засопел.

– Что за женщину драться? – отозвался он через минуту неопределенно и вдруг заявил: – У меня увели жену, я помчался сломя голову... Дрался – не дрался! А-аа, не приставай, с чем не надо!

Порой им было трудно жить вместе и во всяком другом случае они, скорее всего, давно бы разошлись, но обстоятельства принуждали к терпимости, а редкое общение вслух, подобно начатому тутуном, простой обмен обычными мыслями, как ни странно, понемногу сближая, привносили доверие.

– Пусть подерутся. Кроме волчицы, им больше не за что, не то, что нам...

– У тебя появилось желание подраться?

– Почему бы и нет – оно у меня не исчезает с осени.

– С кем? – без удивления спросил Кули-Чур.

– Да хоть с кем... или с собой.

– Гудулу, ты зря помнишь о том, чего не вернуть. Ну, ничем не лучше! – И нукер потыкал ночь пальцем, в том направлении, где не стихала шумная волчья вражда.

Забывать, что уже не вернуть! А что, кто-то помнит об этом, и как было... чего уже не вернуть? Ему ли, тутуну, не знать, что нередко одни и те же события и далекого прошлого и настоящего получают самые противоречивые оценки людей достаточно просвещенных и вполне уважаемых. То, чего уже не вернуть, они трактуют и подают настолько по-разному и своевольно, что мало знакомому с противоречивой сутью событий, когда-то и где-то случившихся, истины ни за что не найти. Потому что ни у таких толкователей ее просто нет, у каждого есть и будут только собственные пристрастия и собственные заинтересованные доказательства. А что же было тогда и что где-то случилось, разрушив загадочное прошлое их тюркской сути? Кто расскажет, что слышит он сам, тутун Гудулу? Что? Что было на самом деле? Великое в мужестве

сгорающей жертвенности? Бесчисленно примеров подобного мужества, неподдельного героизма, буйного всплеска отчаянной мощи сердец. Бесчисленно! Сотни примеров буйствующего и возвышенного духа! Безоглядного и безумного в самоотдаче, каким он сам был недавно и каким, скорее всего, больше не будет. Может быть, и созидающего, но... мелкого по смыслу. Что, вскочив на коней, они создали? Где остальные? Что значит: *великий народ; во славу народа; мы – народ?* Должен ли быть народ, пусть самый деятельный в какой-то период истории, многочисленный, который ухищрениями льстецов-соседей получает вдруг возвышающее право называться великим? Не самое ли пагубное заблуждение из всех возвеличивать род, нацию, расу? Любой здравомыслящий скажет в искреннем в роде бы споре искушенных мудрецов, что глупо. Но скоро забудет об этом, вновь обернувшись тем, кто он есть в мелкой принадлежности роду, нации, расе. Конечно, Чаньянь сейчас торжествует. Мятеж, нарушивший ее покой, подавлен. Мятежники казнены во главе с вождями, а старая тюркская Степь, толков не поняв, что же случилось в Черных песках, достигнув крепостных стен столицы лишь мстительным ужасом и кошмарами, ненадолго напрягшись и сожалея о не свершившемся, разочарованно затихает.

Она уже смирилась, снова испуганно съжившись, но не оглохла совсем, не утратила нормальной вменяемости. Вон, волки грызутся, не усмиряясь! Волки – зверье! А это разве не степь и не воля?

Волки внизу под скалой дрались всю ночь. Утром нукер и тутун рассматривали далеко внизу, на ватно-белом, красные пятна.

Глазастый Кули-Чур углядел под пушистым заснеженным кустом усыпанного ягодами шиповника неподвижного зверя и удивленно спросил:

– Что с ним, Гудулу? До смерти?

Волк лежал, не подавая признаков жизни, почти до полудня, потом, вроде бы пошевелился и будто стрельнул беспомощными зовущими глазами в сторону скалы и пещеры. Как попросил помощи.

– Живой? Он вроде, живой, Гудулу. Пойду, посмотрю, – пробурчал Кули-Чур.

Он пошел напрямик, по скале, спускался осторожно с помощью волосяной бечевки толщиной в палец, а Гудулу, продолжая про себя ночную беседу, вдруг подумал о том, не понимая, к чему и откуда, что, собственно, китайцы во все времена оставались терпимей соседей. Жестокость присуща не самому народу, она более свойственна безжалостным, оголтелым, как звери, вождям, сподручным и рьяным приспешникам.

И землю китайцы во все времена любили и любят иначе соседей.

Они ее добросовестно холят, а кочевники только топчут и топчут тьмой стад, отар, табунов, пользуясь природным ее естеством.

Но правила бытия, образ жизни для себя и детей, человек избирает без всяких посредников и никто не вправе осуждать его за такое решение, кажущееся кому-то странным и неприемлемым. Как не вправе никто осуждать за состоявшийся выбор его народ, избравший историческую судьбу, навсегда отдавший чему-то пристрастие и предпочтение. Гудулу так и подумал – «народ» и, понимая, что в песках Алашани, в Ордосе все завершилось тюркским позором, впервые воспринял случившееся серьезной трагедией всего степного родоплеменного союза под именем «тюрк», для него, несомненно, самого великого.

Он раньше это «народ» плохо понимал, не до конца ощущал в себе, слышал как отдаленное эхом; он мало знал воли, настоящей свободы тела и разума. Нередко поступая своевольно, с вызовом, полноценной независимости не испытал, и рядом с князьями-ханами Нишу-бегом и Фунянем, шаманом Болу, Выньбегом ее по-настоящему не почувствовал. Как-то вскользь, случайно, бегом, где-то чуть-чуть мое, где-то... Промчался, переполненный гневом, проскакал в ярости на коне рядом и не услышал ее возбуждающей благодетельности, оставаясь всегда только злым, раздраженным, сокрушая препятствия на пути... Разрушал, но не строил.

Теперь это прошлое нагоняло, возникая и возникая по ночам тревожными картинками, до собственного крика болезненными, и вот явилась еще в неожиданном образе волчьей свары, способной вспыхнуть в любой дружной стае, навевая образ старейшин, смахнувших голову беспомощному хану.

И если раньше это прошлое возносило его яростью битв, сражений, ненавистью и враждой к противнику, взрывало сражениями, то волчье ночная грызня словно сместила что-то и переставила, перестав диктовать прежнюю властную силу, поселив на первом плане преследующий несмолкающий рык.

Битвами раньше он жил – только прошедшими битвами, через битвы представляя прошлое и будущее. Но битвы-то мнились уже не те, в которых он участвовал рядом с Нишубегом, Фуньянем, Выньбегом. Их, большей частью бездарные и не в полную тюркскую мощь, не он начинал и не он завершал. Большой частью они проходили без особенной устремленности непосредственно предводителей, которые и сражаться не очень стремились, не очень понимая за что. Теперь, долгими зимними ночами, он разворачивал другие, собственные... принесенные волками.

Особой последовательности и порядка в его мыслях не наступало. Они металась рвано и беспорядочно, вспыхивали и затухали, оставаясь горячими, утишали постоянную боль, с которой он жил с начала зимы, обозначив основными врагами Поднебесную, орду Баз-кагана, но на первое место выдвинув уйгурского князя Тюнлюга...

Добравшись по глубокому снегу до волка и снова вернувшись с ним под скалу, Кули-Чур что-то кричал.

Громко кричал, возбужденно.

Пересиливая нежелание шевелиться, придавленный оживающими картинками его новых свершений, тутун поднялся, заглянул под обрыв.

– Он живой, Гудулу! Хребет поврежден! Сдохнет – будет хорошая шкура, выживет – отпустим! Арканы! Свяжи три аркана, два будет мало, и сбрось конец.

Выпавшая на их долю зима оказалась на редкость морозной, оттепелей почти не было; изредка появлялось равнодушное солнце, словно съездившееся от холода, и тогда Гудулу с Кули-Чуром подолгу просиживали на вязанках толстых ветвей саксаула, радостно подставляя блеклому светилу обветренные, заросшие лица. За всю зиму другой радости у них не было. Горячий, никому не подотчетный, неожиданно и необузданно вдруг взрывающийся, умеющий слышать близкую крутую опасность, тутун Гудулу и прежде умел сохранять терпение, проявив зимой в полной мере. Он терпел и себя, горячего и необузданного в невольных порывах, и мирился с неудобным Кули-Чуром, но нукер никогда еще так возбуждено ему не кричал.

Связав отыскавшиеся арканы, намотав один из концов на руку, он другой сбросил вниз под скалу. Нукер долго возился, обвязав зверя подмышками, подал команду к подъему. Гудулу потянул за веревку, но волк болезненно заскулил.

– Стой! Стой! Так мы его совсем погубим, я – на руках, – послышалось снизу.

Раздернув узлы аркана, Кули-Чур вскинул раненого зверя себе на загривок, затратив не менее часа, поднялся с ним на площадку, проделав по глубокому снегу и скалам немалый обходной путь.

Волку действительно сильно не повезло, он был живой, но лапы его казались безжизненными. Не двигалась обвисшая голова. Молодой, недавно полный сил и волчьих желаний, с широкой грудью и вздыбленным темно-серым загривком, крупный зверюга выглядел жалким. Его замерзшая взъерошенными пучками шерсть была окровавлена. Утративший способность стоять на ногах, скалиться и рычать, сверкать угрожающе глазами, он чем-то стал похожим... на него, тутун Гудулу, и добавил невольной досады. Тутун поднес к его заиндевелой морде, истекающей сукровицей, кусок замороженной конины, но волк, сделав голодное глотательное движение, на большее сил в себе не нашел, и Кули-Чур сострадательно произнес:

– Каменюку суешь! Давай на костре немного подержим.

Выхватив мерзлый кус из рук тутуна, он приспособил мясо к огню и держал, пока с него не закапало и оно сколько-то не оттаяло. И долго возился, нарезая с трудом поддающиеся ножом кусочки. Разжимал лезвием волчьих зубы, заталкивал в звериную пасть, принуждая глотать и глотать.

Волк привнес в скучную жизнь приятное оживление. Они возились с ним как с малым ребенком, ощупывали по нескольку раз в день его поврежденную холку, присыпали глубокие рваные укусы пеплом, смазывали тем спасительным, что есть на всякий случай в курджуне каждого воина. Они кормили его заботливо, отдавая зверю не самое худшее из более чем скромных запасов.

Зверь оставался зверем, дичился, рычал, не хотел признавать спасителями и благодетелями – у него было свое понимание и обстоятельств, в которых он – хозяин этих мест – оказался, и собственной волчьей чести.

Поднялся он через неделю.

Неуверенный, что способен снова ходить, мелко дрожал, дыбил шерсть на загривке. Гудулу попытался помочь ему, поддержать и едва жестоко не поплатился. Почти прежде не двигая головой, волк сделал вдруг резкое движение и склацал зубами. Только собственный инстинкт помог тутуну избежать неприятностей.

– Шайтан бродячий! – беззлобно выругался Гудулу, рассматривая чудом уцелевшую руку. – Можешь проваливать – надумал кусаться!

Волк не умел и не желал проявлять благородства, заискивать перед спасителем-человеком, он оставался своенравным сыном дикой природы. И чем больше в нем пробуждалось зверя, тем веселее был Гудулу, сам в себе пробуждая и новые желания, и новую страсть.

Волк ушел ночью. Гудулу слышал, как волк уходил. Вначале он чутко вошел в пещеру, обнюхал его убежище-нору, потому ту, в которой безмятежно дрых Кули-Чур, и долго сидел.

Он словно бы что-то внушал спасителям на прощанье по-своему, по-волчьих.

Гудулу лежал, затаившись, нисколько его не боялся.

Было такое ощущение, что зверь сочувствует ему и словно бы понимает, что его судьба немногим лучше сейчас всякой волчьей.

И все, поднялся и бесшумно ушел.

Утром его на площадке не оказалось, след показывал, что он отправился в ту же сторону, в глухое урочище, откуда появился месяц назад вместе со стаей, чтобы испытать свою звериную удачу в диких волчьих поединках за продолжении рода.

Сердце тутуна заныло, как задохнулось в тесной груди, пожелавшей простора.

Оно за всю зиму впервые так сильно и больно заныло, куда-то звало, чего-то властно просило. Весь день Гудулу был подавлен, угрюм, замкнут, и слушал, слушал только разволнованное, гулко застучавшее сердце, в котором было много непривычной тоски и совсем не было страсти.

Молчаливым, насупленным оставался Кули-Чур; в тот день ими не было произнесено ни единого слова.

7. Костер на скале

Зима не только зверям, и людям – особенное испытание. Зима – скучный бег времени, предел душевного напряжения. Она будто перестраивает и перекраивает, утомившуюся душу, своевольно меняя в ней что-то местами, чтобы с первыми днями возбуждающей оттепели человек мог продолжить почти умершую жизнь по-новому жадно и свежо. Не торопя мысли недостатком времени, не стесняя и не принуждая спешить как перед принятием срочного решения, неспешностью полусонного замедлившегося течения она неизбежно что-то привносит. Может быть, безотчетно для самого человека, но властвует и над разумом и над его духом. Стирает прошлую боль, незатухающее отчаяние, огорчительные сомнения, наполняя почерневшую от испытаний и невзгод прежнюю душу ослепительно белым рассветом новых желаний.

Всё, всё входит белым, просторным, но... волк был в крови. Волк принес кровь, напомнил о крови, непреклонной звериной злобе, и белое в Гудулу – то широкое, легкое белое, вроде бы им овладевшее надежно, – белым оставаться никак не желало.

Несколько ночей подряд волк возвращался в сонную память, усаживался рядом с его заросшим лицом, долго не уходил.

Просьпаясь, тутун хватался за нож, иногда вскакивал, и зверь исчезал.

– Что? Что с тобой, Гудулу? – тревожился, открывал глаза, Кули-Чур.

– Спи, наше будущее представляю, – уклончиво говорил тутун, с головой втягиваясь в тесное логовище.

Через неделю волк перестал мерещиться и донимать навязчивым появлением. Гудулу, радуя Кули-Чура, немного успокоился. Их убежище находилось в безветрии южного склона горы, солнце доносило сюда часть божественного небесного тепла, едва осязаемую ласку богини Умай-Эне, и суровые воины в тяжелом безмолвии белых снегов радовались ему по-своему тихо и затаенно, часами просиживая с зажмуренными плотно глазами.

Кроме забитых в начале зимы лошадей, в припасах у них нашлось вяленое мясо и курджун сушеного овечьего сыра. Отыскалось немного зерен, которые они терли на плоских камнях, измельчали, два-три раза в неделю готовя нехитрую болтушку, которая была все же приятней, чем мерзлая волокнисто жесткая конина. Тутун заставлял Кули-Чура грызть закаменевшую косточку, говоря, что сырое мясо полезно зубам, иначе скоро потечет кровь, зубы станут шататься, и к весне, когда Гудулу найдет ему молодую наложницу, Кули-Чур окажется беззубым.

– А ты? – выставляя эти кривые крупные зубы, способные справиться с любой костью, добродушно вопрошал Кули-Чур.

– Я как медведь, лапу зимой сосу, – сотворяя на лице нечто подобное кривобокой улыбке, заявлял Гудулу, и рассказывал о голодных зимах детства. О шаманке, заставлявшей добывать кору каких-то старых деревьев, есть сырой всякую забитую живность и однажды даже пить свежую кровь медведя, которого, подняв из берлоги, сама, на его глазах, проткнула длинной рогатиной.

– Да она у тебя батыр-старуха! – с притворным равнодушием бурчал Кули-Чур.

– Увидишь, – говорил Гудулу, теплея от мысли о вредной старухе, и... видел перед глазами маленькую Мунмыш, похожую на увертливого подростка. – В глаза не смотри долго, взглядом она убивает всякую память. Она тебе не Болу, наш Болу в сравнении с ней мальчик, – хвалил он шаманку, никогда прежде так о ней не отзываясь. – Медведя взглядом убила, думаешь, силой? Камень сдвинула с ямы, я не смог.

Он часто стал хорошо говорить о старухе, в которой раньше ничего хорошего не находил.

В ответ нукер начинал вспоминать свое, как на зиму его жены, никогда не устраивая бессмысленных свар и склок, всегда вовремя и в изобилие запасали пучки разных корней, листьев, черемшу, чеснок, полевой лук-слизун, готовили разные отвары, заставляя его делать под зимние запасы березовые туеса. Что жены наверняка теперь достались другим соплеменникам, но зла, конечно же, кроме князя-старейшины и кагана, не держит.

Он долго не решался рассказывать о главном, что вынудило его покинуть родные места и северный косокольский огуз орды Баз-кагана, в котором был не последним воином.

Тутун охотно подхватывал тему нехитрой беседы, не проявляя навязчивого любопытства, кивал головой в знак согласия, смеялся:

– Ты болтай, да грызи, пока есть чем. У нас черемши нет, крови медвежьей нет, конина да зайцы. Такие толстые зубы, медвежьки совсем, как у тебя, сильно болят, кулаком враз не выбьешь, как я с тобой?

Брезгливо сплевывая скапливающуюся во рту сукровицу, Кули-Чур старательно грыз, грыз мерзлое и противное мясо, подсовываемое тутуном, чувствуя, как ледяной холод сковывает зубы, небо во рту, губы. И занудно ворчал, вспоминая, как ненавидел деревенские корни, горькие хвойные настойки, но лучше пить, чем жевать замерзшую конину.

– Больше всего, что ты любил? – жмурясь на солнышко, спрашивал Гудулу просто, чтобы о чем-то спросить, не дать беседе угаснуть. – Брагу?

– Люби-ил! – радовался Кули-Чур, вспоминая, что для лучшего вкуса в брагу добавляют сладкий корень, от чего чашка просто липнет к губам, не оторвать, и снова о чем-то долго рассказывал.

– А сладкие вина? – допытывался Гудулу, щурясь солнцу, радуясь легкости мысли, оживающей с приходом тепла,

– Китайские? Из виноградных ягод? – переспрашивал Кули-Чур, причмокивая сухими губами.

– Ну да!

– Жены мои любили, – сообщал Кули-Чур.

– Женщины сладкое любят! – охотно и чисто смеялся Гудулу.

Мысль оживает в тепле, под лучами солнца, с заходом словно бы замерзает не то на кончике языка, не то глубоко в горле, продолжая мучить и беспокоить в самой голове. Говорить вроде бы хочется, но сил нет, и они снова, точно чужие, равнодушно молчали.

Умолкая, нукер погружался в привычное одиночество, сохраняя лицо достаточно живым, сопереживающим, что в нем происходило. В глазах его, когда они открывались ненадолго, можно было увидеть и грусть, и сострадание, и мечтательность. А Гудулу и молчал по-особому. Душа его замирала, становясь безучастной и каменной, и в таком холодном отстраненном состоянии он мог оставаться часами.

– Гудулу, – не выдержав, спросил однажды Кули-Чур, – Ты о весне думаешь?

Конечно, нукер спросил не о теплом, радостном времени года, тутун усмехнулся:

– Дождемся, подумаем.

Казалось, он еще не знает чего-то, не все может решить, испытывая сомнения, или на чем-то сосредоточиться окончательно, но, оставаясь в себе, знает уже многое.

– Весна – когда? Сейчас хочу знать, скажи, Гудулу! – осторожно и без напора допытывался Кули-Чур, сам передумав немало за долгую зиму.

– Пойдешь со мной дальше? – Глаза тутуна оставались закрытыми.

– Боюсь, но пойду, – Кули-Чур усмехнулся.

– Я пришел... Долго искал, Кули-Чур, но пришел... Часто ночами вижу шамана. Он многое помнил, с ним я стал бы сильнее.

– Найдем, найдем шамана, без шамана нельзя, – соглашался нукер. – А еще раньше сотню надо собрать.

– Нет, Кули-Чур, сотня и тысяча шамана Болу не заменят.

Гудулу так и не заговорил о своих намерениях, вызвав новое неудовлетворение Кули-Чура. Казалось бы, как нукер чувствовал по себе, с приходом тепла человек, особенно в их положении, должен оживляться, больше говорить, но тутун заметней мрачнел, сильнее отдалялся от мира покоя и равновесия.

Прошло одно новолуние, другое, минуло несколько сумрачно снежных дней, о Суване – ни слуху, ни духу. Вся обозримая округа оставалась точно вымершей. Ни души, кроме зайцев, скачущих в зарослях, набивших много глубоких троп, и появляющихся изредка в тальниках косуль, маралов, лосей.

Иногда вдали появлялись всадники-воины, но мало ли кто и куда направляется? Появлялись и пропадали, не замечая присутствие на скале посторонних.

Проснувшись и съев, что позволяли они по утрам, Гудулу и Кули-Чур в ожидании скорого выхода солнца из-за дальней горы уселись привычно на давно выбранные камни, покрытые попонами, откинулись на скалу.

– Глаза устали, – произнес Гудулу неопределенно.

– Отчего? Ты почти не смотришь! – не менее неопределенно и негромко, себе под нос, осведомился Кули-Чур.

– Пора бы, – Гудулу шумно втянул в себя воздух.

– Пора, – согласился нукер, без труда догадываясь, что тутун говорит о Суване, и тоже вздохнул.

– Ночью ты не выходил на обрыв?.. Тебе ничего не показалось сегодня ночью? – спросил Гудулу, не открывая глаза.

– Ты каждую ночь сам выходишь, мне еще зачем? – вяло отозвался Кули-Чур. – Что... показалось?

– Не знаю, дымом подуло... Запахи принесло, а нет ничего.

– Почему ты не стал резать третьего коня, Гудулу? – вдруг спросил Кули-Чур, уставившись на окаменелую лошадиную тушу в шкуре, валяющуюся под скалой. – Хорошая лошадь пропала ни за что, и Сувану не отдали.

– Оставил тебе, – ответил тутун.

– Мне? – удивился нукер.

– Кому еще?

– Зачем?

– Чтобы уехать, если захочешь.

– Я должен был уехать? – не понял Кули-Чур

– Мог не выдержать со мной, а не на чем...

– Куда бы я мог поехать?

– Не знаю. Уехать и все... К Баз-кагану. К любимой жене.

– Любимую у меня отобрали, Гудулу!

– А ты не отомстил и умчался.

– Готовился, мог... Другая женщина помешала, вот Баз-каган и живой... Зато я с тобой, не с Бюртом на том свете.

– Со мной тебе лучше? – Тутун усмехался.

– Не пойму! Ты отдашь даже жизнь, я убедился, то – хуже зверя, можешь убить ни за что... Нет, иногда не лучше.

– Есть время выбирать, и бывает, когда его нет, – сухо сказал Гудулу, оставаясь с закрытыми глазами.

– Ты можешь решить, когда такое время есть, а когда его нет? Шаман Болу тоже мнил себя вровень с непогрешимым Богом.

– Хочу дальше других видеть, – спокойно проворчал Гудулу, нисколько не сомневаясь в своей правоте.

– Хочешь всегда верховодить? Думаешь, начальствующий не способен ошибиться? – усмехнулся нукер, неудовлетворенный подобным ответом.

– Способен, ошибается, но выбирает. Другие должны подчиниться.

– Почему – только подчиниться? Взять и подчиниться?

– Болу говорил: иначе нельзя... Иначе нельзя.

– А если однажды я не смогу?

– Тогда уходи, когда позволяют...

– Кто позволяет? Когда?

– Сейчас можешь уйти.

– Тебя трудно понять, Гудулу.

– Ты сам пошел. Надоело, пока не поздно, уйди. Зачем ты со мной? – Гудулу говорил схоже с тем, как с ним когда-то разговаривал шаман Болу.

– Один шайтан знает! – непринужденно воскликнул нукер.

– Когда твое время – думай ты, когда наступит мое – я буду решать.

– И мою жизнь? – любопытствовал Кули-Чур.

– И жизнь.

– Уйти, что ли? – Зажмутив глаза, как бы ни желая видеть тутуна, нукер шумливо воскликнул: – Не-ет, кто-то из нас дичает, пора уходить! Такие, как ты... таких больше не встретишь!

– Уходи.

– На чем, лошадь пала давно! Оказывается, у меня была хорошая запасная лошадь, а я не знал!

– Иди, как Суван! – Гудулу едва слышно рассмеялся. – С кочки на кочку и задом по осыпи. Видел, Суван ловко съехал?

– Нукер – пешком? Я не могу.

– Тогда оставайся и дай отдохнуть своему языку. Разговорился опять. Тепло подействовало?

– Конечно! Никогда не знал, что солнце зимой чуть не дороже глотка воды в пекле пустыни; оно возвращает радость!

– Будешь дальше болтать? – Гудулу сердился, во что-то вслушиваясь. Он давно, старательно и напряженно слушал какую-то дальнюю даль, известную только ему.

– Останусь и буду.

– Оставайся, что делать.

– Останусь, останусь.

– Напугать хочешь?

– Не-ет, в тебе что-то волчье, тутун, пусть проклянет меня Небо! Сам волк и другие... С тобой все волками станут.

– В степи только волки – главные... Да тюрки, – Гудулу рассмеялся, но глаз не открыл.

И не сразу открыл, когда Кули-Чур вдруг воскликнул, что вдали, на скале, отчетливо видит дым большого костра.

Действительно, костер был дымным, каким делают при необходимости подать важный сигнал, и они до вечера гадали, чтобы он значил, но ни движения, ни чего-то другого не заметили.

В ожидании прошла ночь и следующий день. Костер угасал на какое-то время и вновь начинал отчаянно, призывно дымить.

Кули-Чур не выдержал первым.

– Да что он значит, дьявол возьми! Если Суван – почему не идет? Другой – что говорит и кому? Проверить сходить?

– Это Егюй, – ровно произнес Гудулу.

– С чего бы: Егюй у него объявился!.. Егюй – всю зиму! Егюй! Слегка ошалел на солнце?

– Егюй, – тверже заявил Гудулу. – У костра, должно быть, Изелька, Егюй дальше пути не знает, рыскает. Изелька у костра, а Егюй рыскает. Сходи, Кули-Чур, как стемнеет.

Полный недоумения и острого желания перемен, спускался Кули-Чур по козьей тропе в долину. Всякий раз, оглянувшись, видел на обрыве маленькую фигурку тутуна, суровую для него, властную и на таком расстоянии.

Иногда ему начинало казаться, что Гудулу вот-вот вскинет руки, полетит на другую скалу, в сладостную ему неизвестность, и Кули-Чур вроде бы ожидал, замирая, что тутун полетит, но все оставалось, как было, а оглянувшись в очередной раз, Кули-Чур обомлел.

Над обрывом, рядом с черным зевом пещерки, дымно горел небольшой костерок, на фоне его отчетливо был виден тутун Гудулу.

8. Долгожданная встреча

– Егюй! Егюй! Изелька, хвостик щенячий! – Догадка тутуна оправдалась, перед ним стояли нукер Егюй и мальчишка, Гудулу обнимал, мягонько тискал, смеялся, отдавая предпочтение юнцу, вскрикивал: – Изелька, чертенок! Конь мой живой, коня сохранили?

– Жив, уцелел! Как шайтан – Изельку понес! Я за ними, за ними, саблей надо махать – отста-аал! Изельку нашел – ваши следы остыли. Мно-ого дней: найду – потеряю, найду – потеряю! Слышу: там кто-то дрался с Тюнлюгом, туда уходили! Куда после ушли, перед снегом? Где-то же надо надежно укрыться! Никто не знает, нигде нет. Пойдем, говорю, Изелька, к бабке Урыш, будет жив наш тутун, куда-куда, к сыну придет. Приде-ет, что гоняться вслепую, нашего тутуна вслепую не отыскать, приде-ет! С Изелькой легче, не один. Задержат – с мальчишкой? Отпустят, с парнишкой на войну не ходят. Задержат – отпустят. Пришли в урочище: нет Урыш. Мунмыш нет. Могилянчика нет. В кузне остались, в кузне работали, никто Тюнлюгу не выдал. Потом привезли Сувана, Суван плохой был совсем, сказал, где пещерка. Морозы спали, пойдем, говорю, Изелька, будем искать. Надо найти, как он один? Он один, мы неприкаянные, без кола, без двора... Потеплело немного – пошли-ии!

– Сувана, сказал, привезли? Почему – привезли? – допытывался Гудулу, начиная хмуриться.

– В буране заблудился Суван. Люди Тюнлюга нашли. Конь стоит мертвый! Конь замерз, а Суван живой. В сугробе лежит. Разбудили. Ищу, говорит, брата. Привезли в урочище, бросили в кузне – зачем он им?

– Живой остался Суван? – хмуро спросил Гудулу.

– Оста-ался! Пальцы на одной ноге отломились, живо-ой! Пальцы сра-азу отломились, Суван закричать не успел. «Не больно, Суван?» – «Нет, хрупнуло только». Потом уж дурниной орал.

– Ногу жалко, – Гудулу шумно вздохнул.

– Жаль... без пальцев, – сочувственно выдохнул Кули-Чур.

– Не все, не все! Только большой самый и маленький который. Два. Хруп – и нет! Долго потом, думали, вся ступня отгниет. Хвойный отвар, березовую кору, смолу из пещеры, разное. Ба-абка! Старуха Урыш! По колено! Сидит Суван по колено в отваре, терпит. Синее, синее, Суван трет и трет кошмой, стало краснеть помаленьку и отошло. Ходить начал, ходит. Мы – к тебе, он в кузне остался. Бухает молотом помаленьку. Бух да бух, что ему?

– Отъездил свое Суван! – Гудулу был задумчив.

– Отъе-ездил! Отъездил! – кивал головою Егюй.

Разговорившись необыкновенно, проявив несвойственную словоохотливость, нукер долго не мог успокоиться; переживания его, распаяясь обилием слов, примитивным изложением, шли из него сами собой.

– А Урыш... нигде нет? – Гудулу напрягся, под скулами обозначились крупные желваки. Ему вроде бы тоже хотелось о чем-то сказать пространно и просто, в чем-то признаться, сбросить какой-то свой непосильный груз, но расслабиться, как Егюй, отдаться простым, оживающим чувствам не удавалось. В нем, наоборот, не проявляясь особенно, радуясь обретению нукера и мальчишки, тревожное медленно умирало. Ему тяжело было держать эти чувства в ожившем сердце, но и показывать, как Егюй, Гудулу не хотел.

– Нигде. Точно сквозь землю ушла. Взяла Мунмыш с Могиляном и как провалились. Сильно искали, всех поставили на ноги, кузни закрыли! Снег по брюхо коням – искали. Сорока долго летала. Летала, летала! Стрекоchet, стрекочет – старухи нет. Чуть не убили. Помнишь сороку? Кто-то из наших нукеров тогда еще сбить захотел – стрекотала над самыми головами.

Ну, когда в первый раз мы пришли, помнишь? Говорят: сорока здесь, здесь и старуха, ищите лучше, коней в награду дадим. Искали, искали!

– Кто искал? – скорее догадываясь, чем понимая, о чем бормочет Егюй, Гудулу будто осканился.

– Кому говорили. Тюнлюг приказывал, больше месяца с нами жил. Всё из кузни увез, что с осени сделали. Чем весной торговать? – сокрушался Егюй и, разглядывая свои крупные натруженные руки, словно жалел все, что ими было сделано.

Егюй казался незнакомо мирным, пришедшим из другой жизни, полной мелких обычных забот, которыми Гудулу никогда не жил в полную силу, не слышал их постоянное присутствие в себе, потребность телу, рукам, разуму и о которых мало думал. Эта повседневная обыденность незначительного, всегда кажущаяся мелочно надоедливой настоящему воину, никогда надолго не овладевала им, но вдруг затронула; посмотрев на крупные руки Егюя, он с любопытством спросил:

– А другие птицы? У нее разные жили. Ворона была, на плечи садилась. Голуби... Говорят, могли на Байгал слетать к белым шаманам... А сорока – та дикая, никого не подпускала.

– Тихо стало, почти нет голубей, – вздохнул Егюй, и добавил: – Но у меня есть. Спрятал, в лесу, Пошлем Сувану хорошую весть, я обещал.

– Убили и съели?

– Кто знает, может, люди Тюнлюга позарились, – согласился Егюй.

– Волк был большой и собака... Могилян катался.

– Волк! Волк был, был такой слух, какой-то волк повадился в коши Тюнлюга. По десять овец вырезал за одну ночь. Говорили, шаманка наслала, но волк тоже пропал. Не-ет, волка не убили, пропал и пропал. Зима, время гулянок, ушел подругу искать.

– А разбойники? – как можно равнодушнее спросил Гудулу, склоняясь к огню и предполагая неприятный ответ. – Видел?

– Не-ет! Этих раньше не стало, до снега ушли. Тюнлюг налетел – разбежались! У старухи кого-то видели несколько раз, а кто приезжал, зачем приезжал? Что им, не все равно, кого грабить?

Беседа разгоралась, затухала и опять разгоралась непринужденно, без всякой последовательности. Изелька привычно возился с костром, готовил болтушку, выкладывал на кошму привезенные припасы. Гудулу размягчался, наблюдая незаметно за мальчишкой, уже почти юношей....

Снова крепчал мороз, мёрзло хрустел снег под ногами Изеля, Кули-Чур поеживался, но тутуну было хорошо и тепло.

Егюй беспокойно заворочал головой, приюхиваясь брезгливо, спросил:

– Коняка дохлый лежит! Что за коняка, Гудулу? Портиться начал – прет за версту.

– Солнце пригрело, портится, – подтвердил Гудулу, не без удивления взглянув на мертвую лошадь, которую раньше вроде бы не замечал.

– Давай уберем, сколько будет лежать? Сбросим вниз. Волки приходят – злые бегают, стаями. Сожрут.

– Вороны, вороны! Волкам дохлятина не пойдет.

– Ладно, вороны, – соглашался Егюй, и повторял: – но сбросить-то надо,

Изель позвал к достархану. Сидели до темноты, вспоминая что-то и вспоминая. Говорили обо всем, но никто не говорил о завтрашнем дне и что с ними будет.

Ночью привиделась Урыш на руках с младенцем... Изелем. С Изелькой, не с Могиляном. Гудулу рассердился, что на руках у нее не Могилян, закричал на старуху.

«Снова пришел... носит его по свету! – огрызнулась старуха. – Из-за тебя-яя! Принес нам беду, теперь токо бока подставляй – с Тюнлюгом надумал связаться».

Кто-то хрипел перерезанным горлом за спиной, и Гудулу в испуге обернулся. Нишу-бег стоял в двух шагах, протягивал окровавленные руки. Оставаясь... безголовым.

Урыш погрозила синим скрюченным пальцем, который вдруг, хрустнул пересохшим сучком и отвалился, оскалилась, став похожей на волчицу...

По желтым длинным ее зубам стекала розоватая слюнка.

Гудулу сильно дернулся, чтобы слюна не упала ему на лицо – он ее испугался, не зубов, – и проснулся, пролежав до утра с открытыми глазами, полными плотной ночной вязкости, не желая рассвета. Ночь была для него приятней и сокровеннее дня, когда... все на виду один у другого, и снова в ожидании будут глядеть на него...

Утром он объявил:

– Волки стаями ходят, пора собираться... пока Тюнлюг не пришел. Хуже не будет.

– Не будет, – охотно согласился Кули-Чур, словно этого только ждал, и спросил: – Куда поведешь? Мунмыш станем искать? Могиляна?

– К Тюнлюгу пойдем, – спокойно сказал Гудулу.

– Соскучился? – Кули-Чур усмехнулся.

– Пойдем! – Гудулу напряг желваки. – Не я ему должен, он должен мне.

– Сытых коней достать бы, одежду получше! – Кули-Чур не принял всерьез произнесенное тутуном, но мечтательность в глазах не потушил.

– А бабу не хочешь? – хихикнув, спросил Егюй. – Вы с тутуном в самой силе, правда, Гудулу?

– У Тюнлюга возьмем, у него много, – мирно проворчал Гудулу.

– Кого, Гудулу, княжеских жен? – Кули-Чур разом как-то посмурнел, нахмурился.

– Коней, хорошую одежду, – произнес Гудулу так, что у Кули-Чура разом отпали сомнения в серьезности намерений своего вожака.

Кули-Чур сдержанно спросил:

– Объявляешь уйгурскому князю беспощадную барымту?

– Начал Тюнлюг, Небо видело... Тюнлюг умрет, – ответил холодно Гудулу.

– Давай начинать с Тюнлюга, глядишь, и мое желание может исполниться, – согласился холодно Кули-Чур.

Пристально посмотрев на него, словно порываясь о чем-то спросить, оставшемся меж ними невыясненным, тутун отвернулся.

К поведению тутуна, непонятному ходу мыслей в нем Кули-Чур никак не мог приспособиться. По грубой простоте он считал, что тутуна привели в горный край стечение обстоятельств, отцовские чувства, что предгорья Алтая, орхонские степи они покинут, как только найдут, что тутун ищет, и тогда... он предложит ему...

От того, что он мог бы предложить тутуну, нукеру стало жарко. Кули-Чур долго ковырял угли в костре – просто ковырял, вроде бездумно и, без желания выпив чашку болтушки, вдруг вскинул голову и спросил:

– Гудулу, мы навсегда остаемся?

– Мы пришли, – ответил Гудулу.

– Будем шайкой разбойников? – досаждал Кули-Чур.

– Мы на землях наших отцов, Кули-Чур. – На этот раз Гудулу не напрягал желваки, не рычал, как иногда мог зарычать, подобно рассерженному зверю. Он был во власти неизбывной тоски и своей удручающей грусти.

– Земли наших отцов давно утрачены, Гудулу. Что из того, что пришли?

Егюй равнодушно посапывал, совершенно не слушая, о чем говорит его хозяин, уже принявший решение, подлежащее исполнению. Он внимательно перебирал одежду тутуна, что-то в ней исправлял, подвязывал и перевязывал. Молчаливый Изель помогал усердно.

Когда спор Кули-Чура с тутуном надоел, Егюй оторвался от мелких дел и не громко сказал:

– Коней я привел, они внизу, в глухомани. Пять человек прихватил на всякий случай... Что за одежда, тутун? Как вы жили? – Егюй приподнялся с кучи хвороста, встряхнул то, что держал на коленях, осыпаящееся выпревшей шерстью. – Гудулу всегда такой, а ты, Кули-Чур?.. Кош один близко. Тюнлюг старшину оставил мзду собирать. Сходить бы к нему – почему не сходить? Всем надоел: ездит и ездит, все мало и мало.

Не выразив удивления, что Егюй чем-то разжился, прибыл не один, Гудулу рассмеялся:

– А ты предлагаешь дать ему много?

– Дать сразу, а как же?! Сам давно просит. – Узкие глаза Егюя почти закрылись от лукавого удовольствия.

– Где кош, знаешь?

– Кто не знает, все знают! Со мной пришли его люди. Сборщики княжеской дани.

– Сборщики – серьезно, у меня брат Дусифу лучший сборщик Ордоса... Не плохо живет, – хмыкнул беззлобно Гудулу.

– Неплохо, неплохо живут! Старшина только дерется, когда они мало привозят.

– Сильный такой? – Гудулу неожиданно повеселел.

– Жирный, тяжелый. Едет, едет и засыпает прямо в седле. Шуба теплая, коню до хвоста, что ему?

– Стражей много? – спросил Кули-Чур.

– С полсотни.

– Дальше! – произнес Гудулу.

– Куда дальше! Я сказал: у него много, у нас мало, – обиделся Егюй. – Пойдем и возьмем.

Стражи, не стражи...

– Пойдем, – легко и бездумно согласился Гудулу.

С Егюем ему стало спокойно, как было всегда. Егюй был надежным, устойчивым, почти обязательным в его новой жизни, приносил равновесие.

– Стражи, не стражи, поведешь, Егюй. Пойдем и возьмем, пока нам надо немного... Кули-Чуру наложницу я обещал, Кули-Чур мерзлое мясо за это ел всю зиму.

– На мерзлый зуб, что ли, пробовать станет? – мирно бубнил Егюй, доставляя тутуну тихий, желанный покой, растекавшийся по всему его утомленному телу...

9. Первый набег

Тутун Гудулу долго стоял над обрывом, уставившись в белесую даль, где не было ни горизонта, ни неба.

Всё было белым, легким, светлым вокруг – как посветлело в душе.

Устав стоять, он медленно повернулся.

Изель наводил порядок на запущенной площадке. Собирал и сбрасывал с обрыва старые полуобглоданные кости.

Он явно набирал изрядный вес и хорошую силу – она в нем уже проступала.

Хороший рос у Егюя сын!

– Что, Изель, возьмем один из кошей князя Тюнлюга? – Гудулу сгреб Изеля в охапку, попытался в азарте подбросить.

Изель оказался тяжелым, Гудулу поскользнулся на утоптанной площадке, испугавшись, что может упасть с обрыва, отбросил Изельку, с трудом устояв, сам на него повалился. И они завизжали, барахтаясь: мальчишка лез из-под тутуна, хотел освободиться скорей, Гудулу, ощущая азарт, не отпускал.

Егюй хмурился осуждающе.

– Отпусти, Гудулу! Отпусти, – брыкался в крепких руках тутуна мальчишка, визжал, переполненный удовольствием.

– Не лезь никогда под руку. Забрался под руку тутуну! – выговаривал строго Егюй, и сам, увлеченный возней сына с тутуном, неожиданно засмеялся: – Гудулу, скоро ты с Изелькой уже не справишься!

– Зато Могилян справится; сын отца в обиду не даст. Собирайтесь, ночью выходим, – поднимаясь, отряхивая снег, решительно произнес Гудулу.

Подставив слезящиеся глаза предвечернему солнцу, закинув руки за шею и покачавшись, он вдруг разбросил руки в стороны, сильно потянулся и, скинув с себя верхние одежды, оголился до пояса.

– Пора завершать с... этой зимовкой! Разотри-ка, Изель, как следует! Когда спишь да спишь, как медведь в берлоге, кровь остывает! Помоги как следует!

Склоняясь над сугробом, тутун ежился, передергивался, втягивал волосатый живот. Встав на четвереньки, замотал головой:

– У-уу, холодно! Отвык! Скорее, скорее!

Изелька с опаской бросил пригоршню снега на спину тутуну, Гудулу заухал громче, закричал почти визгливо:

– Растирай! Ты растирай! Сильнее! Кули-Чур, помоги, пока я живой!

Повеселев, отринув всякую осторожность, Изелька бросал белую зимнюю мякоть пригоршнями, Кули-Чур прихлопывал по спине тутуна тяжелой пятерней и крепко втирал этот снег, похожий на пух, в синюю кожу, начинающую испускать парок.

Егюй топтался рядом, неодобрительно, сердито ворчал.

– Ух! Ух! Лучше! Наверное, буду живой. У-ух! – захлебываясь, вскрикивал Гудулу.

Пар от его спины поднимался гуще, спина покраснела. Прогнувшись, выскользнув из-под рук нукера, Гудулу сам, яростней, стал натирать себе грудь, лицо, шею и плечи.

Он был худ и жилист, выше всех ростом, густо заросший черными волосами. Довольно длинные, кое-где пучками, они покрывали и плечи его, и грудь, и спину, стекая по желобку хребтовины вниз.

И втянутый живот его был весь волосатый – особенно был волосатый, как непролазные заросли саксаульника внизу под обрывом.

Ухая и охая, смешно растопырив руки, он вдруг опять погнался за Изелькой, схватил, бросил в сугроб. Мальчишка завизжал, перевернулся, вскочил изворотливо и побежал вокруг костра, в который Егюй набросал толстых сучьев саксаула.

– Пойдем и возьмем, правда, Изель! – хохотал Гудулу, неуклюже пытаясь догнать Изельку. – Пойдем и возьмем, то у них много, а у нас пустые курджуны! Настала наша пора! Держись, князь Тюнлюг!.. Ах ты, увалень толстозадый! – Поймав, наконец, мальчишку, несильно встряхнув за ворот, Гудулу поставил его впереди себя у костра, навалившись, затих.

Сняв поспешно, Егюй распахнул над костром свою шубу, награв, набросил на плечи тутуна, снова присел у огня.

Запахиваясь и улыбаясь, радуясь приятному теплу согретого шубного меха, Гудулу присел рядом, блаженно зажмурился.

Стуном что-то происходило – Кули-Чуру, пробывшему с ним рядом больше трех месяцев, особенно было заметно. Не с женой и сыном жил он в мыслях, не с семьей! Не к ним стремился в первую очередь. Но куда и к чему – знает ли сам?

– Знаю! Знаю, чего хочу больше всего, – произнес Гудулу, словно услышав нукера, и резко поднялся.

Скоро, следуя гуськом за Егюем, они спускались в глухой лесистый распадок избитый глубокими заячьими тропами.

Лагерь спутников Егюя был в заснеженных дебрях на звонком ключе. Под прозрачным ледком с пузырьками воздуха, среди хрустких заберегов весело резвился ручей. В него с камешков ныряли юркие пятнистые рыжегрудые птицы, в названии которых тутун разбирался плохо, и которых Урыш называла, вроде бы, водяными воробьями. Они были очень проворны, ловко подныривали под струи, стекающие с валунов и образуя незначительных водопадики. Бесстрашно расхаживали под водой, забираясь под прозрачный истончившийся лед, находя там поживу и ловко ее склевывая. И ничего не пугались.

По сучьям елей и сосен, осыпая снег, скакали не пугающиеся людей белки. Было много красногрудых и сине-желтых пичуг, толстых и ленивых, не спешащих уступать путникам дорогу. И тишина! Вокруг словно замерло, опущенное и придавленное взлохмаченной, будто бородатой тяжестью устоявшейся белизны. Снег был мягок, словно пуховая перина, и был нежен, как сказочно недоступное тело заколдованной красавицы. Его можно было топтать грубой обувкой, можно было пинать, бороздить, раздвигать, но им нельзя было владеть – подхваченный на ладонь, он быстро таял.

Гудулу давно не видел настолько девственно чистого, мягкого лесного снега из детства, забыв, каким он бывает на самом деле. Он полнился силой, вдыхая и задыхаясь жгучим холодом, оживала его истомившаяся душа.

Спешившись у жаркого лесного костра, Егюй назвал тутуну спутников, прибывших с ним с верховий Орхона, и показал на двоих:

– Они служили Тюнлюгу.

– Ойхорцы? – спросил Гудулу, с любопытством оглядывая непривычных Степи голубоглазых воинов.

– Мы кемиджиты, – ответили коротко.

– С верховий Улуг-Кема. За высокими перевалами, где азы и чики. Там князь Умай-бег, – пояснил Егюй. – Ходили в набег с полутуменом правителя на Байгал, на племена народа байырку, неудачно ходили и стали рабами. Тюнлюг выкупил, отдал старшине. Они знают, где кош и стоянка.

Не проявив дальнейшего интереса ни к лесным людям, ни к планам нападения на кош старшины князя Тюнлюга, захваченный зимним лесом, чем-то томительно возбуждающим, сухо сказал: «Решайте сами, Егюй... Решайте, решайте, я соглашусь», – Гудулу, вытянув руки, присел к огню.

* * *

В набег они пошли не сразу, неплохо прожив остаток зимы в лесной глуши, дождались устойчивого тепла, когда на равнинных землях почти полностью сошел снег и проклюнулась травка. У загонов наткнулись на злобных собак, но бывшие слуги старшины кемиджиты с Улуг-Кема, быстро утихомирили. Вначале намереваясь захватить с десятков коней, кое-что из одежды, оружия, утвари – что подвернется, и умчаться, вскинув на седло по овце, Гудулу, неожиданно натолкнувшись на большую белую юрту, аккуратно обведенную канавкой для лишней воды, вдруг натянул повод.

Начинало брезжить, прояснилось блеклое небо.

Кули-Чур что-то кричал, требовал и торопил, но Гудулу перестал его слышать.

Приподняв саблей полог, увидел теплое уютное царство, мирно сопящих женщин с припухшими в сладостном изнеможении мягкими губами, спящего среди них под шелковым одеялом тучного старшину-нойона, рядом с головой которого, вяло шевельнувшись, присел ненадолго, без того невысокий огонек жирника.

Потухни он и, наверное, ничего бы не случилось. Гудулу выдавил бы на губах пренебрежительную ухмылку – еще один боров дрыхнет в бабьей постели, считая себя мужчиной, – и отпустил полог.

Огонек не потух, всколыхнув что-то нервное, нервное и раздражающее, затмившее свет. Перехватило дыхание и он замер. В лицо дохнуло волной ночного семейного тепла, запахами сытости, уюта, которых Гудулу давно не ощущал. Безмятежный сон хозяина юрты, обложенного подушками, на каждой из которых лежала женская голова, показался вызывающим – вот пришел чуждый земле воин, поставил юрту на землях отца...

Ударило в голову что-то неуправляемое и безотчетное, как у тех же собак, услышавших раздражающие чуждые запахи, сердце бешено рванулось.

Неприятие чужого покоя наполняло особенной горячечной лихорадкой. Ощущая мелкую дрожь сабли, тутун ее острием коснулся груди старшины и глухо обронил:

– Проснись.

Наверное, голос его походил на замораживающий голос бога мертвецов, и был так воспринят в ужасе вскинувшимися в юрте.

Глаза у всех только блестели – другого тутун в них не видел. Мягкие сонные губы женщин, раздвинувшись в невольном желании закричать, закричать не смогли. Обнажив кривые желтые зубы, они будто бы вдруг отвердели, исторгая единый страх и единое для всех онемение...

Да, он был для них Бюртом – богом загробного Черного мира!

Наполняясь мстительной сладостью ощущений, Гудулу рассмеялся, подобно страшному богу тьмы.

– Ты кто? Ты зачем? – нашел в себе силы шипящим каким-то шепотом спросить старшина.

Хозяин был глуп даже для того, чтобы как следует напугаться. Он только шевелил толстыми губами, лоснящимися от жира поздней ночной трапезы в окружении мягкотелых жен и наложниц, бессмысленно бльмал пустыми глазами.

Потерянность тучного нойона доставляла наслаждение, Гудулу в нетерпении чего-то ждал.

Он ждал и ждал, ощущая томление в груди, острые покалывания в ней, ликующий напор крови в сердце.

Тутун Гудулу пришел! Он способен заставить чуждых здесь содрогнуться!

Утро набирало разгон, в юрту вползал сырой серый рассвет. Легким ознобом поднявшись по ногам тутуна, по спине, он, странный этот рассвет, скатился на плечи, на вытянутую в сторону старшины руку, потек по жалу сабли на голую грудь старшины...

Наконец старшина закричал...

Он закричал, как тутуну хотелось.

Безумно, лишаясь рассудка.

Вмиг позабыв обо всей своей легковесной жизни.

О добром и злом.

О совершенном и только задуманном.

Старшина видел острие сабли тутуна и ничего больше не замечал. Ни теплых жен или наложниц, ни богатств, наполнявших юрту, – пустой у него был взгляд. Только блестящий булат сабли да стекающее по ее желобку серое утро отражались в его расширившихся, оторопело выпученных глазах.

Последние, может быть, в самодовольной тупой жизни желания, владели этим жалким разумом.

– Ты кто? Зачем? Что тебе надо? – Голос нойона дрожал.

– Тот, кто пришел на земли наших отцов навсегда, – глухо произнес Гудулу, испытывая дьявольское искушение сильнее навалиться на рукоять, толкнуть ее взмокшим телом, содрогающимся, отяжелевшим. – Я пришел... тутун Гудулу. Тюрк по крови отца.

– Ты настоящий тюрк? Откуда ты пришел?

– Самый настоящий.

Слов у тутуна больше не находилось, говорить ему не хотелось.

– Но ты уйдешь? – глупо, до невозможного тупо спросил старшина. – Возьми, возьми, что хочешь, не возражаю... А когда ты пришел?

– Только что, – усмехнулся Гудулу.

Перестав дико кричать, проснувшиеся жены нойона сползались в кучу. Одна из них, пухленькая, как сам нойон, пышногрудая, лежащая слева, тянула на себя одеяло, а другая, лежащая справа от господина, похожая на худосочного ребенка, противилась и не отдавала. И другие возились, охваченные страхом, пытаясь зарыться в постели.

Томные со сна и плохо соображающие, они моргали, моргали, оставаясь полуголыми, с раззявленными, одеревеневшими ртами.

Тишина установилась одуряющая, и была она хуже криков – Гудулу задышался, рука его тряслась нервной дрожью.

– Вставай, следуй за мной, – сказал тутун, убирая саблю.

– Я не пойду. Куда я пойду? Я не пойду! – Старшина натянул одеяло на жирный подбородок, не замечая неприятной оголенности жен, порывался натянуть его и на голову.

Повизгивая, жены противились, не отпускали свои края.

– Пойдем, тебе лучше пойти... навсегда уехать. Скажешь Тюнлюгу: был тутун Гудулу... Всем будет лучше, не стоит пугать твоих женщин, – почти мирно предложил Гудулу, радуясь, что нашел силы поднять и убраться с его груби саблю.

– Уйди! Сам уходи! Забирай, что хочешь.

– Что у тебя забирать? – удивился Гудулу, чувствуя, как опять невыносимо тяжелеет длинное жало, и вдруг спросил: – Жен можно? Остальное оставлю, а жен заберу... Или всё заберу, а женщин оставлю.

– Забирай! Жен забирай! – Старшина охотно кивал головой, упиравшись жирным подбородком в мягкое одеяло. – Приедешь, еще дам, здесь у меня не все.

Одеяло вдруг показалось синим, как знамя Урыш, а потом стало зеленым – Гудулу всматривался напряженно, не в силах понять, какое оно все-таки, и нервно спросил:

– У тебя одеяло зеленое?

– Нет, оно синее, – сказал издалека, из-под одеяла старшина.

– Жаль, что не зеленое. В Степи синим должно быть Небо и... знамя Урыш. – Нервно вздохнув – нервно, захлеб, – Гудулу не смог больше держать настолько тяжелую саблю – непомерно тяжелую, и не смог удержать ее самовольное движение вперед, в мягкую грудь старшины.

Она сама по себе повлекла его за собой, вошла в нежный пух, убивая чужое синее... одеяло.

Одеяло он убивал, не жалкого человека.

И вышел, не слыша ничего, ничего не понимая.

Медленно поднялся в седло, твердо поставив ногу в стремя, медленно поехал.

Люди Егюя, сделав нужное дело, уводили наметом небольшой табунок лошадей, Егюй с Кули-Чуром поджидали его.

– Одеяло, – сказал Гудулу, сверкая глазами, полными беспамятства.

– Какое одеяло, Гудулу? – спросил Кули-Чур, оглядываясь на юрту старшины.

– Большое! Оно было синее... мягкое совсем... Как он посмел укрываться синим одеялом?

Серый рассвет заползал в густые кустарники. Блеяли овцы. Истошно лаяли собаки.

А небо перестало светлеть, замерев на странном переходе тьмы к свету.

Полумгла тяготила. Тутун гнал коня, спеша покинуть эту вязкую серость, и покинуть не мог. Она держала его, она была в нем, ворочалась вокруг взбесившегося сердца, взрывала оглохшее сознание.

– Я пришел, – говорил Гудулу сильным шепотом. – Тюнлюг, я пришел, берегись, осквернив земли моих предков!

* * *

В разгон разогнавшейся весны, полной страсти и буйства живого, спешащего проклюнуться первой травой, по краю Черных песков легким наметом, развевая длинными гривами, шел огромный табун из нескольких тысяч коней. Его гнали Егюй и сотня нукеров.

Одолев немалое расстояние, табун достиг примитивного тюркского лагеря, когда-то заложенного в песках Алашани шаманом Болу.

Мужчин в лагере почти не было, только женщины, дети, престарелые. Лагерь был полуразрушенным, с обгорелыми, провалившимися и кое-где восстановленными плоскими крышами. У входа в капище с останками вождей, перенесенных когда-то по приказанию Болу из Ордоса, сидели в бесчувственном отрешении равнодушные, точно уснувшие старцы-шаманы.

Осадив коня перед юртой в центре, Егюй громко сказал сбежавшимся людям:

– Тутун Гудулу шлет подарок. Будет возможность, пригоним еще.

– Возьми нас к тутуну! – кричали женщины, пережившие нелегкую зиму. – У нас не осталось мужчин!

– Приходят китайцы, у нас отбирают детей.

– Где тутун Гудулу?

– Кто хочет услышать – услышит! Кто хочет найти – найдет! – ответил Егюй.

Отвязав курджуны, переметные сумы, приказав то же сделать нукерам, Егюй развернул коня.

– Я узнала тебя! С тобой уходил мой муж! Ты должен вернуть моего мужа или меня забери! Забери меня! – кричала тяжелая толстоногая женщина, бесстрашно пытаясь ухватиться за стремя Егюя.

Упав, она поднялась, опять побежала.

И многие другие бежали, падали и снова бежали.

Отряд Егюя стремительно уходил в зеленую Степь, наполненную свистом и трескотней, шумом тяжелых и легких крыльев, тоненькими, звенящими переливами под самым солнцем веселых и беззаботных пичуг.

Степь летела навстречу. Желанная волей, свободой, но опасная и пока что Егюю чужая.

10. В шатре Баз-кагана

В середине лета в ставку Баз-кагана – правителя на реке Толе, съехались почти все степные вожди Прибайгалья и Селенги, был среди них и чаньаньский монах Бинь Бяо с двумя высокопоставленными китайскими военными. Из самых знатных в Степи отсутствовал престарелый джабгу татабов Бахмыл-онг, приславший, как и зимой для участия в общем походе на тюркского хана Фуняня, своего сына Ундар-буке, и не было никого от соседствующих рядом с татабами малочисленных эдизов, утративших единоначалие. Говорили об участвовавших грабежах и разбоях дикого тюрка – тутуна Гудулу, и говорили не один день.

– Он ограбил четыре уйгурских рода, три телесских, угнал десятки косяков лошадей, проткнул саблей нойона! – сыпались жалобы мелких правителей.

– Трое моих слуг были повешены головой вниз!

– К нему бегут наши рабы!

– Вырезал дюжину кошей на Среднем Орхоне, где владения князя Тюнлюга!

– Как ветер! У него нет постоянного лагеря, как нам его поймать, Баз-каган? У волка и то всегда постоянное логово! А у этого каждый ночлег под случайным кустом! – кричали, перебывая друг друга, нойоны, старшины, тарханы, князьки. – Сколько тутун может свирепствовать? Пойдем на него!

– У него лишь какая-то сотня, каган!

– Слушаю вас третий день, и не пойму, что есть у тюрка-тутуна, чего нет у вас? – утомленно взглянув на стареющего кагана, раскинувшегося на шелках и мягких шкурах распаханного шатра, спросил монах.

Огромный шатер на крутом возвышении, с разгону который осилит не всякий конь, стоял на колесах, вкопанных по самые оси, полог его был приподнят, и взору Бинь Бяо представляла панорама телесского поселения, разбросанного по лугам и побережью. Искрилась на плесах степная река, доносился гомон купающихся ребятишек, что скрашивало неприязнь его к бестолковым вождям и скуку.

– Просто везет, он, в самом деле, какой-то счастливчик!

– Посылаем отряды в одну сторону, он появляется с другой. Посылаем погоню, след снова остыл! Князь Тюнлюг не может поймать, как мы поймаем? Скажи, князь!

– Говори, князь Тюнлюг, ты молчишь! – приказал правитель Толы и Селенги.

– У волка волчьи повадки. Должен признать, каган, Гудулу-тюрк уходит умело. Помнишь, гонялись с тобой до самой зимы? – Князю не понравилось, как правитель обратился к нему, без должного почитания; ответив не без намека, что и с каганом поймать тутуна не удалось, Тюнлюг усмехнулся.

– Как волк! Он волк из Черной пустыни, Баз-каган! С весны совсем страх утратил! – поддержали уйгурского князя.

– На Черного волка нужна большая охота, каган, – оценивая оказанную поддержку и высокомерно приосанившись, произнес уйгурский князь.

– Облавой пойдем, Баз-каган! Стань во главе!

Монах Бинь Бяо, недовольно сузил глаза, заворочался, склонившись к сидящему рядом ханскому управителю Як-Тургану, спросил:

– Княжич на берегу? Ветер поднялся, нельзя ему в воду.

– Не пустят, не пустят! С ним Саум-баатыр, наставник Рахмин, не позволят, Бинь Бяо, – ответил поспешно и тихо одноглазый атлыг-управитель.

Баз-кагана присутствие монаха чем-то стесняло; догадываясь, монах приподнялся:

– Нет, пойдем, Як-Турган, проверим.

Едва они вышли, Баз-каган вскинулся недовольно.

– Так волк он или счастливчик? – В его возгласе была нескрываемая издевка. – Не можете выловить сотню злобных тюрок, а что станете делать, когда соберется тысяча? Объявлять на всю Степь о войне Селенгинской орды с шайкой грабителей? Соседи поднимут на смех!

– Гудулу хитер и отважен, каган, однажды придет и к тебе, – потерявший больше других от набегов тюрка, не без угрозы бросил Тюнлюг, сохраняя подавленность.

– Покинь на время хотя бы его урочище, князь Тюнлюг! Распустив над своим родом синее знамя, ты озлобляешь не только тюрка-тутуна, – ответил каган холодно. – Вспомни, зачем приходил Гудулу и как ты с ним поступил? Оставь, что тутун просит, возможно, утихомирится.

– Я поклялся снять с него кожу! – возражал упрямо Тюнлюг.

– Ты оскорбил тюрка-тутуна, Тюнлюг, разъярил волчицу-шаманку Ольхона. Поручив тебе тутуна, я допустил ошибку, и ты первым за нее платишь, – позабыв о приличиях и собственном величии, хмуро и резко бросал каган.

– Соглашусь, упустил, и не соглашусь, что тутуна можно утихомирить, – пользуясь паузами в речи кагана, связанными с отдышкой, шумно возражал князь. – Он продолжает начатое в Ордосе. Черный волк продолжает, каган! Открой глаза, объедини, попросим помощи у великой империи, спина не переломится! Хочешь, я снова поеду в Чаньань?

Баз-каган сердито подернулся:

– Когда ты сказал об этом послам Гаоцзуна, которые завтра покинут нас, они весь вечер смеялись.

– Смеялись не все, Баз-каган, только военные. А лицо монаха Бинь Бяо видел? Видел, каким он сейчас нас покинул?

– Бинь Бяо что тебе сказал, князь? – Баз-каган уставился на Тюнлюга.

– Что из того, что Бинь Бяо сказал! Бинь Бяо сказал: «Вы нажили врага, не сумев принять его дружбу», ну и что? – сердито вскинулся князь.

– Посланник великого императора просил тебя через своих людей предложить встречу тутуну, – напомнил каган.

– Бинь Бяо просил... – Тюнлюг смутился.

– Князь Тюнлюг исполнил просьбу императорского посланника?

– Разговор с Бинь Бяо состоялся вчера, – замялся Тюнлюг. – Я не успел.

– Вернувшись из Чаньани, ты много говорил о великой У-хоу и ее советнике. Бинь Бяо – не доверенное лицо этого советника? Ты настолько захвачен собственной злобой?

– Монах! Монах! Что дает нам какой-то монах? – Миролюбие, вялое примиренчество кагана никак не устраивало князя, и Тюнлюг сорвался на крик.

В мире не было еще ни одного спора, который разрешился бы к полному и всеобщему согласию. Всякий спор – несогласие, и в нем как бы две истины, из которых на самом деле ни одна полной и доказательной никогда не является. Даже самое миролюбивое его разрешение оставляет и неудовлетворенных и злобствующих, и что бы сейчас не предложил правитель Селенги, утишить злобу уйгурского князя Тюнлюга, жаждущего лишь одного – жестокой мести тюрку-тутуну, едва ли было возможным.

Небеспричинно опасаясь князя-вассала, не всегда считающегося с его волей, правитель междуречья Толы и Селенги не мог не считаться с его мнением и уклончиво произнес:

– Начав по своему усмотрению, сам и заканчивай с тутуном-счастливчиком, князь Тюнлюг, я буду на стороне монаха из Чаньани.

– Мы выпустили злобного тюрка в Степь, мы и поймаем, – не скрывая надменности, произнес рассерженный уйгурский князь. – Я пойду облавой на волка вместе со всеми.

Распустив совет, каган попросил задержаться в шатре юного Ундар-сенгуна и мягко сказал:

– Твой родитель, Ундар-буке, онг Бахмыл, старый мой друг. Волею Неба мы возвысились над своими народами одновременно... Что сказал онг Бахмыл, отправляя тебя ко мне?

– Он сказал: не способные разрушить, против собственной воли они всегда укрепляют, – произнес юноша.

– Онг Бахмыл боится степного бунта?

– Бунт завершился. Но, не сделав уступок тюркским князьям, Кытай проиграл. В Степи началась другая жизнь, тебе, каган, опасная больше, чем отцу.

– Великий Кытай победил и развеял тюркские тумены! – Каган вскинул широкую бровь.

– Топот тюркских коней, недавно слышимый лишь в Алашани, сейчас раздастся по всей Ольхонской степи, где в трудные прежние времена мужало тюркское сердце. А Кытай сюда не придет. У него снова неладно с Тибетом, ширится слух о тюркешском волнении в Кашгарии. Генерал Хин-кянь воспротивился казни тюркского хана Фуняня, сдавшегося под честное слово генерала, теперь Хин-кянь в ссылке и у Кытая больше нет достойного военачальника для похода на север – сказал мой отец.

Юноша еще не привык, когда с ним разговаривают на равных, и заметно смущался, передавая не всегда почтительные слова родителя, на пухлых щеках у него появлялся густой багрянец. Он находился в начальной поре становления мужчины, но костью был крепок, на лицо миловиден. Он был здоров, доставляя этим пышущим благоуханием и крепостью зависть кагану, сын которого стать таким никогда не сможет. Болен, болен его Дуагач – последняя радость души.

С завистью наблюдая за юношей, вслух каган произнес:

– Монах Чаньани Бинь Бяо получил сообщение: возмущение, затеянное в Кашгарии, на Или, у Теплового озера в поддержку тюркского у нас, завершилось полным разгромом бесчинствующих. Отрублено семьдесят мятежных голов, тюркеш-ашина Кибу-чур схвачен китайским начальствующим генералом Ван Фаном. Не сумев договориться, тюрки и тюркешки начали врозь и закончили плохо из-за упрямства своих предводителей, не пожелавших пойти навстречу друг другу и объединиться. – Баз-каган сохранял глубокую задумчивость и говорил не совсем то, о чем сосредоточенно думал.

– Отец уверен, в нашей Степи не закончилось, будь осторожен, каган, – сказал юный татаб. – Он высоко ценит, Черного волка.

– Хорошо, мне надо подумать, онг Бахмыл – мудрый правитель. Не ходи в эти дни ни в какие набег с Тюнлюгом, они ничего не дадут уйгурскому князю, останься при мне, я снова спрошу. Я стар, Ундар-буке, но князя Тюнлюга каганом на Селенге видеть не хотел бы, я знаю уйгурскую кровь... Так потом скажешь онгу Бахмылу.

– Разве каган сам не уйгурских кровей? – удивился юный буке.

– Ее во мне много. Достаточно много, – уклончиво произнес вождь Селенги.

Ночью каган вдруг проснулся, почувствовав, что кто-то сидит рядом.

– Кто-то здесь есть? – спросил он, пошевелившись. – Кто рядом со мной?

– Я, тутун Гудулу, – последовал тихий ответ. – Я прибыл, случайно узнав желание Бинь Бяо, но решил не к нему пойти, а к тебе. Ты не рад, как я поступил?

– Где стражи? – зачем-то спросил каган, ощущая, как, испуганно вздрогнув, гулко заколотилось его усталое сердце.

– Успокойся, у входа в шатер мои надежные нукеры, у тебя были совсем никчемные стражи, каган.

– Мы о тебе говорили весь день, Гудулу.

– Я был почти рядом, не раз меня подмывало войти.

– Зашел бы.

– О-оо, навещать хана без приглашения при многих – унижить повелителя громкоголосой и бестолковой толпы! Лучше среди ночи увидиться с глазу на глаз. Однажды я приходил, Баз-каган. До сих пор не знаю, зачем. Но я приходил, искал в твоих глазах разум, надеясь на помощь

и получив под завязку. Тибетский монах больше услышал, чем ты. Не пугайся и не дрожи, зла во мне нет, я снова пришел с миром: может быть, что-то все же поймешь.

– Кого тутун посетил раньше меня?

– Хан опасается за князя Тюнлюга? Или просит о помощи?.. Нет, Баз-каган, я не был у князя Тюнлюга, князь умрет, где начал вражду.

– Тюнлюг умрет на Орхоне?

– Шаманке нельзя не верить, каган! Урыш предсказала: он захлебнется водой моего Орхона, едва лишь придет. Или ты сомневаешься в тайных способностях управлявшей самим мирозданием, которой поклонялись многие повелители старой тюркской Степи? Старуха по сей день, как мне известно, глубоко почитаема на острове древней веры, Байгале, с которым у нее связи никогда не прерывались. Туда по сегодняшний день летают ее почтовые голуби. Посоветуй Тюнлюгу никогда не ходить на Орхон, и я не трону его.

– Тюрк Гудулу угрожает ему или мне?

– Баз-каган, назвав меня волком, признайте за мной право на волчьи повадки. Зачем угрожать словом, когда я могу воткнуть нож в твое горло!

– Почему тутун Гудулу решил, что Орхон только его?

– С древних тюркских времен им владело мое поколение – кто-то не знает?

– Тюрки Кат-хана уступили эти земли китайцам, но тутун направляет свой гнев на мою орду!

– Моя злоба сейчас, как стрела, летящая за Каменную Стену. Твоя орда, она на привязи у Поднебесной, каган встал на моем пути, у него под рукой нет ни одного тюркского рода. Я готов уважать смелых уйгуров, но кто, по-твоему, тюрки в Степи, Баз-каган? Перекасти-поле?

Едва заметно шевелилось невысокое пламя в сальной площадке. Правитель-каган сидел, поджав укрытые мехом колени под подбородок, тутун – сложив ноги под собой, и оба они походили на странные изваяния, у которых подвижны только изредка взблескивающие в полутьме глаза.

Баз-каган пошевелился первым, выпрямил ноги, вытянул поверх меха жилистые длиннополье руки, разминая будто, пошевелил этими тонкими пальцами, похожими на детские:

– Хорошо, я готов подумать, как тебе помочь... Почему бы не стать Орхону твоим!

– В помощи я не нуждаюсь, каган, однажды ты обещал. И служить я тебе не намерен. Говорю, и запомни, не посягай на верхние земли Орхона. Все, больше ничего не прошу. Ни тебя, ни уйгурского князя. Или снова приду и сделаю, что не закончу сейчас, уважая твою старость. Видишь, в Степи говорят правду: я и уйду, когда пожелаю, я счастливчик!

– Сегодня Тюнлюг назвал тебя Черным волком пустыни. – Не выражая страха, каган усмехнулся.

– Он всегда ошибается. Тутун Гудулу покинул Черные пески, он рядом с тобой.

– Что передать монаху, он уезжает в Чаньянь – ты с этим пришел?

– Привет передай, я помню Бинь Бяо и уважаю. Скажи, тутун Гудулу не нашел в темноте шатер монаха, поэтому мы с ним не встретились...

– Ты грабишь больше уйгурские огузы и щадишь телесские, ты...

– Тутун Гудулу не грабитель, каган, он забирает отобранное у пастухов, – перебил его Гудулу. – Прощай. Не вставай у меня на дороге и не жди, когда я приду в злобе. Я сожалею, но в Степи нам становится тесно. Желаю удачной облавы на Волка Степи.

И тутуна не стало. Лишь ветер коснулся лица кагана, будто над ним пролетела легкая птица.

* * *

Закрыв глаза, словно глубже проваливаясь в тепло летней ночи, каган ощутил в себя невероятную пустоту, не имея сил ни пошевелиться, ни позвать на помощь. Он прожил послед-

ние два десятка лет в относительном покое, привык слышать рядом в лице монаха Бинь Бяо сильную руку Китая и степной вражды не хотел, но мирная жизнь разрушалась. Она почему-то долго не терпит продолжительного равновесия, всегда вдруг появляется кто-то, не желающий мирного сосуществования и доверительной дружбы. Быть жестоким при власти практичней, но таким ощущать себя ему не хотелось. Тонко звенело в ушах, будто над ним летал одинокий комар, и метался до самого утра, пока в шатер не ворвались перепуганные воины.

Не говорить о случившемся было невозможно – у шатра лежало четверо мертвых стража, но когда Баз-каган сухо сказал, что его посетил тутун Гудулу, никто не поверил. «А если приходил этот разбойник, почему ты живой, каган?» – читалось у всех на лицах. Даже в глазах у прибежавшего в тревоге худосочного сына. Все были готовы припасть к ногам, ощупать от затылка до пят, воспринимая его как чудом уцелевшего, странно смотрели. И князь-уйгуры, и князь-телесцы. И одноглазый управитель атлыг Як-Турган, и дюжина жен, размякшие лица которых он давно так близко не видел. Жены пялились на него особенно испуганно и тревожно. В каждой из них бился собственный страх и свои тревоги. Так уж устроено во всяком окружении правителя, что кто-то всегда ближе ему, желаннее, тепло привечаем и вознаграждаем его вниманием, лаской, заботой, а кто-то живет позабытым и отстраненным, не желая с этим мириться, выстраивая собственные надежды. Сколько в каждой из них своеговольного и затаенного! Испуганного и недоумевающего! Как проступила на каждом лице эта ненасытность самолюбивых желаний!

– Рессуль, подойди, – произнес каган, выделяя одну из своих жен.

Ханша была статна, красива и молода. Она доводилась близкой родственницей уйгурскому князю Тюнлюгу, и каган взял ее в жены вроде бы по расчету, стремясь к миру меж ним и уйгурами, что в орде понимали. Но Рессуль была ему очень дорога, он стеснялся своих чувств к ней, смущался рядом с ней старости, и только нее был сын-наследник.

Вспыхнув чувствами женской неловкости, проступившими на смуглом лице густыми бурыми пятнами, словно бы заранее извиняясь перед остальными женами кагана, которых повелитель не пожелал заметить, высокая статная уйгурка покорно подошла, подталкивая впереди худенького болезненного мальчика. Ее вытянутое сухощавое лицо с упругими щеками, ровным, чуть удлинненным носом, мягкими неширокими губами было не очень смуглым в сравнении с обычными уйгурскими лицами, оно было лишь с налетом приятной и притягательной смугловатости. Она несла себя прямо и строго, ее карие глаза, устремленные на кагана, изливали на повелителя и господина волны искреннего женского соучастия и переживания. Она его слышала, и он ее слышал. Кагану было приятно, как она смотрит на него, неподдельно и просто переживая случившееся, и что довелось ему пережить. Другие сейчас были ему не нужны. Ни женщины, ни стражи, ни слуги.

Приблизившись на допустимое расстояние, положив крепкую руку на плечо сына и заставив его встать на колени, она и сама опустилась перед каганом, задыхаясь, произнесла:

– Мой господин, мое сердце... У меня отнялись ноги.

– Я знаю, Рессуль. Я знаю, – мирно, с благодостным облегчением произнес каган, принимая на руки и грудь повалившегося сына, и приказал: – Оставьте нас. Решайте, решайте с тутуном. Придет ли он снова ко мне, не знаю. Но к вам, точно придет.

– Хан думает, тюрк Гудулу будет ему опасен? – спросил несколько позже посетивший кагана монах.

– Он пока слишком прост, совсем не похож на вождя, и уже опасен. Он бесстрашен, Бинь Бяо. Таких воинов я давно не встречал, – заставил себя выговорить степной предводитель. И тут же ответил на немой вопрос, готовый сорваться с языка монаха: – К нему может сбежаться вся старая тюркская Степь, скажи об этом Сянь Мыню.

– Я плохо стал слышать Чаньань, едва ли в ней задержусь. Отпусти со мной сына. В Китае найдутся лекари, пристрою в хорошую школу.

Монах полюбил его нездорового, слабого сына, предчувствуя большее, чем слышит каган, предлагал нечто разумное.

Каган усмехнулся:

– Да поможет нам Небо и благосклонность Умай-эне! Он мой сын, моему старому сердцу теплей с его матерью. Возвращайся, Бинь Бяо, и с тобой мне теплее.

11. Что скажет о тюрках тюрк?

Не спросив более ни о чем, посланник Чаньани поспешней засобиравшись в обратный путь и в полдень уехал.

Его длинный путь лежал через опустевшие земли эдизов, Желтую реку в районе старого тюркского капища над скалистым обрывом, усмиренный Ордос, восточный проход в Стене, выходил на Шаньдунский тракт и, через месяц, отвечая на вопросы тайного советника императрицы и бывшего сотоварища монаха Сянь Мынь, вкрадчиво сообщал:

– Огонь Шаньюя и Алашани достиг старой Степи, что тревожно, Сянь Мынь! Ты напрасно поторопился казнить последнего предводителя тюрков князя Фуняня, утратить его головой, выставленной рядом с головой Нишу-бега и князя Ашидэ во Дворце Предков. Обозначился неприятный след знакомого нам тутуна Гудулу, мне кажется, он вернулся.

– Он вырвался в Степь, зачем ему возвращаться? – в искреннем недоумении воскликнул озабоченный, как всегда, совсем другими вопросами, и почти равнодушный к собрату.

– За соплеменниками и славой, Сянь Мынь. Он будет мстить Китаю жестоко.

– Мы не сделали Китай сильнее, чем он был? – спросил раздраженно Сянь Мынь.

– Мой старый друг хочет услышать мнение монаха Бинь Бяо или ждет поддержки своего? – усмехнулся Бинь Бяо.

– Говори, все равно скажешь, – проворчал Сянь Мынь.

– Поверь, из дикой Степи видно понятней. Сильнее, чем при Тайцзуне, Китай не стал и скоро не станет, – заявил мягко Бинь Бяо.

– Упрекая за князя Фуняня, о чем ты подумал?

– Князь Фунянь мог бы стать на Орхоне, кем стал в Турфане тюркешский князь Дучжи. Баз-кагана пора заменить.

– Есть сильная уйгурская ветвь токуз-огузов.

– Самый сильный уйгурский князь Тюнлюг своеволен и мало послушен, будет новой ошибкой возвеличивать своеволие. Вспомни о той, кто была до него, пролив много китайской крови?

– Бисуду, если ты о ней, не была уйгурской правительницей! – рассердился Сянь Мынь, напрямую причастный печальным временам, о которых, к его неудовольствию, заговорил Бинь Бяо.

– Она была сестрой уйгурского князя-вождя Пу-жаня, поднявшего лет двадцать назад возмущение, и продолжила, когда князя убили. Оно уже предвещало неприятности, Сянь Мынь, давая повод задуматься, но Чаньань не задумалась.

– Ты затем в дикой Степи, чтобы думать и за нас и за нее, – укорил его советник императрицы.

– Прикажи отыскать Бисуду-ханшу, – хитро сузил глаза Бинь Бяо.

– Бисуду осталась жива?

– Бисуду-ханша здравствует и процветает, Сянь Мынь, недавно ко мне пришло подтверждение. Ей покровительствовали хагасы, с дальним прицелом скрывая ее местонахождение, но теперь ищи у карлукского джабгу, через хана Дучжи. На Заиртышских землях карлуков опять не порядок и свара... У меня появились сведения, что карлукский джабгу готовится сделать набег на Верховья Орхона тюрка Гудулу и жрицы Урыш, если знаешь такую сильную предсказательницу тюркского Кат-хана, что можно использовать к выгоде! Держи наготове на границы песков и Степи тюркешское войско хана Дучжи!

– Ты видишь бродягу-тутуна без роду и племени настолько способным?

– Воспользуйся, пока Гудулу-волк в Степи и пока не вернулся в Ордос или в Шаньси, где его ждут. Застав Степь воевать в Степи, в Китае тюркам нечего делать!

– Тюрк не дрогнет снова напасть?

– Посчитает за первую необходимость, прославляющего тюрк!

– Что можно сделать? – Монах проявил серьезную заинтересованность, сузил глаза.

– Вначале уйгурский князь и тюрк-тутун сойдутся друг с другом – все подготовлено, вражда между ними вечна. Если князь вдруг погибнет, должны появиться карлукский джабгу и старая уйгурская ханша. Есть сильный, но вялый Хагяс, в котором сейчас меняется власть поколений, и под рукой у тебя, подобный верной собаке, хан Дучжи. Но, Сянь Мынь, нельзя изгонять за пределы Стены тюрк-ашинов, удержи последних в Китае! Они не знают пока степных запахов, способных вскружить голову, а тутун уже знает. При этом тюркский север Китая в пределах Желтой реки для него более привлекателен, чем Степь, – ненавязчиво говорил монах Бинь Бяо.

– Место тюрк не в пределах Китая, а за его Стеной, они язычники! – неожиданно Сянь Мынь проявил несговорчивость.

– Шаманов, старые капища с идолами уничтожить не трудно и легче, чем злобное дикое племя. Тебе из Чаньани стало не видно, Сянь Мынь, а я... Я многое понял в странствиях, отлученный тобой от Чаньани и собратьев по вере. Выслушай хотя бы, зная о полной тебе преданности и моих сомнениях. Подумай о тюрках иначе, чем думаешь.

– А ты будь осторожен с принцем-наследником. Кажется, он увлекся тобой в прежнее посещение и просит снова о встрече. Говорю: близится неизбежное, утишь на время степные вольнодумства, – предупредил его холодно и недвусмысленно советник императрицы.

Неприязнь неглупых людей в отношении друг к другу проходит разные уровни отторжения и неприятия. Не многим Сянь Мынь говорил настолько прямо и резко, практически не допускал подобного отношения к себе, но с Бинь Бао, несмотря на случившееся охлаждение, их многое связывало в многолетнем владении властью, житейские тайны одного давно стали тайнами другого. И сейчас его раздражение вызвал не сам старый собрат по незыблемой и единой вере, а юный наследник, ожидающий встречи с Бинь Бяо, в которой наследнику нельзя отказать. Неожиданным было и то, в каком рассудительном беспокойстве о Бинь Бяо заговорил вдруг старый Учитель, храм которого Сянь Мынь недавно посетил. Учитель сказал: «Душа, закрывшая доступ тому, кто побывал в ней однажды и не в лучшее время – бывает ли в порядке и крепком покое, Сянь Мынь? Не ищет ли она другого Пути Просветления, а ты упускаешь, проявляя несправедливость к ищущему собрату?» Не многих желая услышать, Учителя он услышал, хотя по-своему, и вдруг увидел, чего замечать никак не хотел: Бинь Бяо вдруг оказался рядом с принцем-наследником и стал ему интересен...

Сообщение Бинь Бяо о тюрках и тутуне, сделанное в решительной форме, заставило Сянь Мыня задуматься и, помолчав, он произнес:

– Попозже зайди ко мне... Может быть, вечером. Наверное, нам есть о чем поговорить более доверительно.

Так уже было, и на новую встречу Бинь Бяо не рассчитывал, когда за ним пришли одновременно и от наследника и от Сянь Мыня. Не колеблясь, Бинь Бяо последовал за посыльным придворного монаха.

– Срочно найди мне Тан-Уйгу, наставника принца, – вызвав слугу, приказал Сянь Мынь, и, ничего не объясняя, попросив Бинь Бяо скрыться за шелковой занавеской, глухо буркнул: – О тюрках послушаем тюрка.

Офицер ждать себя не заставил, вошел, изрядно запыхавшись, и низко поклонившись, как подобает, произнес:

– Я спешил, Сянь Мынь, оставив принца в досаде.

И снова уважительно поклонился. Еще ниже.

– Садись, – позволив наставнику-офицеру выполнить полагающиеся приветствия, распорядился монах, указывая рукой на циновку, – и ответь: насколько ты тюрк, Тан-Уйгу?

Взгляд монаха, сохраняя внимательность и доверительность, не мог обмануть, воспитатель наследника хорошо его знал, видел внутреннюю собранность и высокую степени беспокойства, и на мгновение растерялся.

– Учитель мной недоволен? Я снова допустил большую ошибку? – спросил он поспешно.

– Внимательно наблюдая, я многое в тебе поощряю, оставаясь в сомнениях, – ворчливо и вроде бы подкупающе добродушно произнес монах, не в силах скрыть глубокую задумчивость и озабоченность. – Самые знатные тюрки-князья, тюрки с кровью ашинов, не имеют доверия, оказанного тебе...

Он оборвал свою мысль, как поступал достаточно редко, желая, чтобы ее поняли и продолжили.

– Своим положением при наследнике я удовлетворен, Учитель, – Тан-Уйгу сделал новый низкий поклон.

– Приятно, что ты доволен, пытаюсь в последнее время выйти из-под моей воли.

И этот прием смены мысли Сянь Мынь во дворце был многим хорошо известен – теперь Тан-Уйгу промолчал, сам выжидая.

– С тобой что-то случилось, я знаю, – вроде бы неохотно, через силу, как трудное, но необходимое, произнес монах, мгновенно наполнившись холодом, – Я хотел бы помочь, если не поздно.

– Учитель, оказывается труднее всего управлять собственным разумом, – поспешно заговорил Тан-Уйгу, не совсем понимая, куда потечет беседа и, догадываясь, что льстивостью в ней не отделаться.

– Достигая власти над собой, человек способен становиться бесконечно большим и бесконечно малым. Что тебя волнует? Ты сам в себе или то, чем ты занят? – хмуро спросил монах.

– Следуя наставлениям Учителя, я остаюсь для наследника только наставником по боевым искусствам. Наследник хорошо стреляет, владеет своим телом. Он вынослив, у него крепкая рука и верный глаз... Я делаю, что могу, и что поручает Учитель Сянь Мынь, но многое во мне раздвоилось, – тихо произнес Тан-Уйгу; настойчивый взгляд монаха порождал в нем не совсем управляемое волнение.

– Тан-Уйгу, почему я только монах и больше никто? Почему тебе хочется быть притесненным в Китае тюрком? Разве не в этом начало?

– Кто же я, если не тюрк? – неожиданно раздражаясь, воскликнул Тан-Уйгу.

Монах смотрел на него не столько удивленно, сколько тяжело, досадливо хмуро, заставив смутиться непроизвольно и неосторожно вырвавшимся раздражением. Последние события сломали привычно-удобную систему его взглядов, которой он отгораживался от мира и дворцовых шатаний. Сломавшись столь неожиданно в нем, они все сильней и всеядней вынуждали его усомниться в возможности воспитания будущего китайского монарха человеколюбивым и доверительным, подталкивали к необходимости искать свое новое самоопределение. Искать другие начала в себя и только в себе. Он точно утратил вдруг разом способность остро мыслить, быстро и точно ориентироваться в постоянном общении с окружающими и непосредственно в монахом. Вместо былой самоуверенности и прежней целеустремленности в отношении наследника, представления о будущей жизни в империи как ровной, востребованной всегда, им все более завладевали подавленность и размышления о никчемности земного бытия вообще. Ненужности поставленной самому себе цели. Ее недостижимости. Не находя всей изворотливостью того важного, о чем ему нужно сейчас говорить с монахом, он беспомощно замолчал.

Сянь Мынь поспешил на помощь, веско бросив:

– Тюрк или китаец – ты наставник будущего императора Поднебесной! Близкий, понятный, необходимый. – И напористо подчеркнул, еще более разрушая в Тан-Уйгу прежнюю целостность взглядов: – Ты китаец степного происхождения!

– Я не просил, Сянь Мынь, ты сам приставил меня к наследнику! – словно бы защищая последние ценности и прежний монолит недавней собственной целостности, воскликнул Тан-Уйгу.

– Многое происходит не так, как нам представляется. Ты выбран давно. Мы гордились тобой, были всегда рядом, позволяя идти прямой дорогой. Зачем искривляешь свой путь, Тан-Уйгу? Тебя потянуло в далекую Степь? Хочешь вскочить на коня? С кем, для чего? – Сянь Мынь говорил спокойно, без нажима, и чего-то настойчиво ждал.

– Услышав огонь, пока я в сомнениях, трудно ответить прямо, – отозвался туманно мужественный гвардеец.

Откровения гораздо чаще бывают опасными, чем полезны и выгодны, что Тан-Уйгу давно усвоил, но, умея непринужденно, как бы походя, льстить монаху, лгать он совсем не умел и, смутился обтекаемостью собственных слов, лишь прибавив уверенности и напору монаха, заговорившего резче.

– Тебя утомили мои искусные речи, которыми недавно ты восторгался, и нашел других подготовленных наставников? – спросил резче монах. – Дух предков, боевые ураны Степи оглушили твой изоощренный разум, которым я восхищался? Направь его на будущего повелителя Тысячелетней державы – еще и за этим ты рядом. Гаоцзуна приучали не любить инородцев, и он не любил, – сказал Сянь Мынь о здравствующем императоре, как говорят о мертвом. – Почему бы его сыну немного не смягчиться, чувствуя рядом неглупого инородца?.. Отвечай полней, Уйгу, я должен знать! Беспокойство мое достигло предела, вокруг принца началась суета, я не хочу тебя потерять.

– Ты почти угадал, Сянь Мынь: головы умерщвленных тюркских вождей наполняют меня тоской, захлебнувшиеся в Желтой реке приходят во сне. Прежняя слава и доблесть тюрков, не только преданно служивших Китаю, но и владевших Поднебесной, обернулись презрением, как если бы ничего никогда не существовало... Чужим оставаться трудно, лучше уйти. Кровь отца, матери – моя единая кровь! Я тюрк, но уже не дикарь! Я тюрк, но уже не кочевник. В этом беда подобных мне.

Смушение и ярость боролись в монахе. Не ожидая настолько глубоких откровений подопечного, не готовый к ним при всей предусмотрительности, монах чувствовал неприятие услышанным. Продолжать в таком духе беседу, зная, что они не вдвоем, становилось опасным.

– Воин-тюрк загорелся походами – славно, Уйгу! – Сянь Мынь перешел на привычную насмешливую риторику и слащавые восклицания, таящие угрозу. – Вспомнил запах степных костров – что лучше! Хочешь увидеть Степь, какой она стала?

Вопрос его прозвучал громко и неожиданно, застал офицера врасплох.

– Мне непонятно, Сянь Мынь...

– Пойдешь и поймешь. Сходи, сходи в свою Степь! Исполни мое пожелание, способное через общение с тобою пойти на пользу упрямым степным народам. Ты продолжаешь помнить смерть многих в Желтой реке?

– Я плакал и умирал вместе с ними, Сянь Мынь! Что хочешь, чтобы я сделал?

– Хочу послать тебя в Степь – я сказал.

– Для чего? С каким поручением?

– Всегда задавай один вопрос. Когда задают два – плохо. Очень плохо, Уйгу. Это говорит о неспособности собраться в сложный момент и думать, о чем важнее спросить, не проявляя беспокойности.

– Прости, Учитель! Зачем необходимо пойти к Баз-кагану? – поспешно исправился Тан-Уйгу.

– Решил, что пойдешь к Баз-кагану? – спросил монах, ожив пронизательными глазами, уставившимися не без любопытства на тюрка.

– Конечно! Подумав, я так решил! – без колебаний ответил наставник будущего императора, догадываясь, что на этот раз монах удовлетворен ответом.

– Объясни, мне интересен ход твоих мыслей. – Монах еще больше сосредоточился, вынуждая Тан-Уйгу к новой осторожности в том, о чем собирался сказать.

– Есть на востоке татабы, кидани, эдизы. Пока у них нечего делать, – сохраняя рассудительность, произнес Тан-Уйгу. – Лесные народы забайгальских, хагяских земель далеко – ты сказал о Степи. Десятистрельные племена Заыртшыя поручены тобой хану-тюргешу и не могут быть поручены тюрку. Остается Халха, Орхон, Тола и Селенга. Все, что нужно узнать, лучше узнать в ставке кагана на Толе.

– Видишь, ты умеешь думать, когда собран! – Монах был доволен, и доволен, скорее, собой, чем офицером. – Пойдешь к Баз-кагану как тюрк, не станем скрывать твоего происхождения, и найди, что хочешь найти.

– У меня не будет... особого поручения? Не боишься, что я не вернусь? – Смятение Тан-Уйгу достигло предела.

– Вернешься, Уйгу! Вернешься другим, и продолжим беседу. Может быть, я действительно заблуждался, и у тебя другое предназначение.

– С кем я пойду? Когда и насколько?

– Тан-Уйгу, ты опять задал целых три вопроса! – укорил монах.

– Я пойду с теми, кто бывает на Толе достаточно часто?

– Да! – Сянь Мынь дернул за шелковую кисть шнура и, когда из-за шторы вышел Бинь Бяо, сказал: – Будешь его сопровождать как простого монаха-странника, ищущего новую паству. Это монах Бинь Бяо, ты знаешь его.

– Знаю, – поспешно сказал Тан-Уйгу. – Наследник просил представить странника или монаха, много видевшего, я водил Бинь Бяо к нему на беседу.

– Тем лучше, – Сянь Мынь многозначительно усмехнулся, давая понять, что знает о встречах, они не остались для него и его верных слуг незамеченными.

– Что сказать принцу, и когда быть готовым? – Тан-Уйгу послушно склонил голову.

– Сейчас в Черных песках еще жарко, – неопределенно произнес Сянь Мынь. – Пока я желаю чаще видеть тебя и Бинь Бяо вместе.

12. Монах Бинь Бяо

Странным человеком и монахом оказался для молодого тюрка этот Бинь Бяо. Многое в нем было не таким, как в других и в его покровителе. Он показался вроде бы мягче в доказательствах своих убеждений, в рассудочности, терпимей в общении. По крайней мере, Тан-Уйгу, восприняв настороженно пожеланию Сянь Мыня чаще видеть его вместе с Бинь Бяо, никак не понимая для чего, скоро поймал себя с удивлением, что в его жизни многое изменилось в лучшую сторону и меняется содержанием.

Встречи с Бинь Бяо стали ежедневными, утром и вечером, нередко в присутствии старого историографа, сообщавшего много полузабытых сведений о народах Степи, забытых, но поучительных отношениями меж ними, а первая беседа, когда говорил многословно, пространно только Бинь Бяо, почему-то долго не выходила из головы.

Вначале, покинув Сянь Мыня и оказавшись в благоухающем саду, Бинь Бяо, никак не связывая с поездкой в Степь, заговорил, что представляет свою жизнь как некое высшее соизволение, выпавшее на его долю потому, что сам он оказался к нему подготовлен всем предыдущим. Это прозвучало несколько заумно, высокопарно и даже самонадеянно, Тан-Уйгу был знаком с подобными риториками, без особого желанья настроился выслушать очередной вздор о высокой монашеской сути и – ошибся.

– Нам с тобой, юноша, скорее всего, долго предстоит быть вместе. Но у меня есть свое отношение и к жизни духовной, чисто монашеской, и к той, что в Степи, далеко не монашеское, почти не духовное, и я не хочу, чтобы ты невольно мне помешал. Или, поняв не так и меня, непривычное мое поведение, и тех, кого ты скоро увидишь, поспешил доложить об этом Сянь Мыню, – произнес монах, едва они ступили под сень ухоженных деревьев. – А я определюсь в отношении тебя; так я всегда поступаю в подобных случаях.

Монах показался немного неуверенным, и Тан-Уйгу спросил:

– Чем тебе неприятен... нынешний случай, создавший и мне затруднение? Ты был к нему не готов? Почему ты вдруг решил, что я должен докладывать Сянь Мыню о тебе?

– О-оо, сколько вопросов, ты плохо следуешь наставлениям своего покровителя и наставника! Не я так решил, решение принял Сянь Мынь. Вернувшись, каждый из нас... Я должен буду говорить о тебе, ты обо мне.

– Что ему в нас...

– Что в том, кого проверяют и ради чего? Дело не в этом, но зачем проверяет, что мне важнее, узнать не дано.

Понятного Тан-Уйгу было мало, по правде сказать, его вообще не находилось, и гвардеец спросил:

– Ты запутал меня вконец. Что в этом больше, хорошее или плохое?

– Получив неглупый совет Сянь Мыня, получи и мой. Давай возможность говорящему с тобой в первый раз высказаться, как он сочтет нужным, не перебивай. Спрашивать стоит, когда оказываешься в полной растерянности, но спрашивай осторожно. Предчувствуя неполный ответ с тобой говорящего, умеи сопоставить что слышишь и что предчувствуешь... Вот еще! – Вопросы Тан-Уйгу почему-то сбивали монаха с мысли или сам он рвал ее, начиная иначе и на новую тему: – Думаю, придет время, когда власть предержавшим ни армия, ни чиновники станут ненужными. Править будет строгая и понятная логика: это должно совершаться так, это иначе. Логика убедительнее грубой силы и полезней даже тогда, когда скрывает заблуждения или преднамеренность. Она не может быть выгодной или невыгодной, твоей или моей, как не может и насаждаться насильственно – ибо тогда она станет догмой и будет отринута. Но люди охотнее принимают самые жесткие догмы абсурдного и бессмысленного, отвергая усредненную рассудочность лишь потому, что разуму беспокойно само рассуждение о воз-

можности равенства. Оно ему разрушительно в неустанном состязании за первенство мысли. Но путаная мысль несовершенного разума намного опасней рассудка, полного преднамеренностей и коварства, еще только затевающего его. Не удивляйся, во мне иногда течет как бы сразу две мысли, и я вслух говорю то из одной, то из другой, не пытаюсь решить, когда же я прав. Я не хочу принимать быстрые решения, постоянно пытаюсь рассуждать. Но решения принимать приходится каждому. И тому, кто в Чаньани, и кто в дикой Степи... Мне и тебе.

На миг показалось, что монах сам проверяет в чем-то своего будущего спутника по предстоящей поездке в Степь. Его трудно было постигнуть, но, кажется, Тан-Уйгу начинал понимать: настолько витиевато и многосложно монах говорил не для глупого, а скорее для догадливого собеседника. Потому и мысли свои усложнял, прятал в них что-то, о чем догадаться непросто. И такого Бинь Бяо нужно было принимать гораздо осмотрительней, слушать внимательней, чем в прежних беседах, которые случались меж ними в кабинетах историков, чиновников разного толка, с любопытствующим принцем. Тогда монах представал человеком, отвечающим на вопросы интересующих не лично его, а где-то, откуда монах появился и о чем намерен поведать как обычный рассказчик, оставалось много загадочного и непонятного даже ему. Теперь он сам проявляет любопытство, готовясь выпрашивать других, привлекая внимание к себе уже в собственных интересах, мало понятных еще Тан-Уйгу. В этом было что-то тягостное, не совсем приятное, может быть, необязательное для их отношений в эту минуту, но вызывало его невольный, усиливающийся интерес. Монах Сянь Мынь о себе так никогда и ни с кем не говорил. Тем более о глубинных личных сомнениях, ни разу не обозначив их существование в себе. Он всегда говорил, подразумевая и не сомневаясь, что его должны понимать и принимать. А Бинь Бяо сообщал о себе и своих колебаниях, пока Тан-Уйгу совершенно непонятных. Не навязывая и не настаивая, он, кажется, заранее пытался защитить в чем-то Степь, куда их направляют. Дать ей своей неоднозначное толкование, подготовив несколько к ее восприятию. Сказать о ней что-то такое, чего Тан-Уйгу без его настораживающих предупреждений не поймет и не примет. Или поймет и примет, на его взгляд, ложно изложенное Сянь Мынем.

Он любил эту Степь – что стало для Тан-Уйгу первым серьезным открытием в монахе Бинь Бяо, и любил самозабвенно.

Отвлечшись собственными невольными размышлениями, должно быть, Тан-Уйгу что-то нечаянно пропустил, но Бинь Бяо уже говорил:

– Я стремлюсь рассуждать, зная, что угождаю не всем, – таким я избрал свой путь. И ты свой избрал, я заметил, ты наставляешь наследного принца быть добрым и справедливым. Люди слепы, не понимая, что имеют все качества быть счастливыми. Следствием этого абсолютного неведения и является всякая борьба в нас и вокруг. Конечная цель жизни любого из нас остается неведомой. И на смертном одре мы не знаем, для чего рождались, что сделали в совершенстве, а что – просто так, будто походя. Пока мы достаточно не преисполнены энергией сотворения общей удовлетворенности, добра и покоя, – мучаясь сомнениями, я могу об этом лишь рассуждать, для чего в Степи у меня было достаточно время и немало неглупых собеседников. Шаманы не дикаря, Тан-Уйгу. Природа была и остается к ним щедрой и благорасположенной, а мы... Самая великая мудрость, которую мне удалось постигнуть, звучит примерно так: «В пятнадцать лет мой разум был направлен на изучение, а в тридцать я знаю, где искать истину». Понимаешь, как сказано: я знаю, где искать! Но умышленно ничего не сказано, возможно ли найти, ибо это будет уже догмой.

Несомненно, Бинь Бяо рассуждал о Степи. Чтобы отвлечь его другой мыслью, направить беседу в новое русло, Тан-Уйгу спросил:

– Если не ошибаюсь, изречение принадлежит мудрецу веков Кон-Фу, и к нему имеются толкования?

– Ты знаешь? – вроде бы удивился монах, с большим вниманием посмотрев на собеседника, и произнес: – Изречение – Путь к логике мысли, требующей покоя. Толкования – Путь к канону и догме, убийство самого изречения. Многие случаи нарушения умственного равновесия – свершившееся когда-то нервное расстройство, затронувшее глубоко основу личности, и лишь самый чувствительный ум способен одолеть несчастье и возродиться. В древних трактатах я обнаружил утверждение, что древние люди, жившие до нас во втором круге своего существования, имели три органа зрения. Третий, там, где у нас расположено зрачок, имел способность прямого созерцания и понимания Высшей Неведомой Силы, дающей нашему разуму прямые послы и приказания. Это был не слух, не зрение или запах, не способность мыслить и умение сопоставлять – что-то иное, ушедшее навсегда и подтверждающее как давно живет разум и в той оболочке уже недоступный нынешнему. Те перволюди могли впитывать и осознать весь Косморазум, общаться с ним напрямую и нам это дико, а почему стало дико, что случилось – еще большая загадка. Великая способность далекого прошлого на расстоянии уловить отдельную рассудочную неприязнь, его задуманную подлость и слышать постоянно предупреждающий голос Неба стала мешать, должно быть, самим богам, и боги лишили их Третьего Глаза.

– Небу нужны посредники на земле?

– Небу – не знаю, богам непременно нужны, – твердо сказал Бинь Бяо и продолжил: – Никогда не ищи истины в толкованиях, как правило, они неверны простой преднамеренностью – объяснить истину как можно проще. Однажды грубо, но было уже произнесено не без насмешки: «Увидев кучу коровьего дерьма, ты многое можешь сказать, что было недавно коровой съедено, но что сможешь сказать о самой куче?» Изречение – лишь всплеск, озарение в тумане. Оно мгновенно и также нередко ошибочно. Толкование – всего лишь ковыряние в куче навоза, уточнение, утверждение того, чего в изречении могло и не быть. Кто постигнет разум, вместивший в десяток слов огромное многолетнее напряжение и поиск? Что он искал и что было найдено?

В какой-то момент Тан-Уйгу показалось, что Бинь Бяо говорит совсем не о том, о чем в первую очередь говорить стоит, что монах опасается чего-то в нем, и вдруг подумал: «Бинь Бяо упрямо считает меня соглядатаем Сянь Мыня, и они уже не доверяют друг другу! Что же у них случилось?»

– Мои путешествия в Степь полезны и бесполезны, – продолжал Бинь Бяо. – Полезны – поскольку я что-то могу и меня в целом там принимают за своего. Оставаясь монахом, я давно перестал быть врагом людям Степи. Даже шаманам. А бесполезны... Мои мысли, рассуждения о гармонии разума, логики, нравственности здесь никому не нужны, в храмах засилье молодых ортодоксов. Властвующим интересует надежное обладание властью, ее защита от посягательств явных начетников, мое в этом содействие в той же Степи и насаждения в ней... Вокруг принца сбиваются несогласные, желающие перемен, пугая Сянь Мыня... Вот почему мне трудно оставаться всегда самим собой, и что не все понимают в Чаньани.

Это было самым неожиданным в беседе. Догадка Тан-Уйгу подтверждалась: Бинь Бяо в тревоге жил Степью, непонятно, правда, какой и, улавливал происходящее вокруг молодого наследника, не скрывал беспокойства. Разговор на какое-то время оборвался, пока монах не произнес задумчиво:

– Принц принцем, но признаюсь, меня беспокоит Сянь Мынь. Впрочем, как и тебя, что я давно заметил. Я не могу постигнуть его до конца совсем по другой причине, чем раньше. Или я поглупел, много времени проведя в странствиях, или что-то скоро случится. Скоро случится... Все, потом еще поговорим! Я тебя утомил, но прежде чем решиться увидеть Степь, спроси, зачем ты решился и надо ли? Причинив новое возбуждение, не умрешь ли в своем беспокойном разуме, который может вдруг взбунтоваться... как умерли до тебя и меня многие сильные духом несоразмерного с нашим?..

Нет, Бинь Бяо его не боялся, как показалось в начале беседы, он видел что-то такое в нем, именно в нем, в тюрке Тан-Уйгу, чего сам он еще не способен увидеть и осознать. Он предупредил его добросовестно и бескорыстно, что Степь может сыграть с ним неприятную штуку.

– Тан-Уйгу, никуда не пойдешь! Не пушу, не пушу! – обиженно твердил наследник, узнав, что Сянь Мынь отправляет его в орду Баз-кагана. – Ты служишь мне, не монахам!

– Принц, мое отсутствие будет недолгим, месяца на три, лето закончится, и я вернусь, не стоит сердить монаха, – старался успокоить принца Тан-Уйгу, прислушиваясь к собственному волнению, крепнущему осознанием того, что он скоро увидит древнюю землю предков.

– Не пушу, не пушу! Не хочу! Бинь Бяо мне самому нужен, и его не пушу! – по-детски сердился принц. – И так я остался один. Почему меня лишили вечерних бесед с историографом? Куда подевался генерал Хин-кянь? Историк сказал, что его сослали, это правда? Ни разу не разрешили встретиться с последним удальцом деда Тайцзуна воеводой Чан-чжи! Скажи, Тан-Уйгу, ты сам называл монаха Бинь Бяо много видевшим и приводил, почему не приводишь? Где другие, интересные мне? Где...

– Люди редко бывают похожими друг на друга, – перебил наследника Тан-Уйгу и напомнил: – Не называй неприятные тебе имена, я знаю, о ком ты подумал.

– Уйдешь от меня навсегда? К тюркам уйдешь? Бинь Бяо сказал, у них скоро будет другой сильный вождь...

– Не знаю, принц, – в смущении признался Тан-Уйгу, – но к тебе я хотел бы вернуться.

– Дай слово как будущему императору, я все равно скоро стану императором!

– Даю офицерское слово своему господину быть ему верным, – без всякой усмешки произнес Тан-Уйгу.

– Когда вернешься, я прикажу присвоить тебе высокий чин! Возглавишь мою личную гвардию из одних удальцов, как было у деда!

– Да будет личная императорская гвардия удальцов! – воскликнул Тан-Уйгу.

* * *

Тан-Уйгу жил эти дни в несвойственном напряжении. Совсем в другом напряжении, чем обычно, и ожидание встречи со степью-пространством и Степью-державой Баз-кагана лишь возрастало. Но степь как пространство, его не интересовала, о чем он редко задумывался. А как бескрайние земли предков, свое изначальное, державу сильных степных народов, к удивлению, не видел и не мог представить, возвращаясь и возвращаясь к привычной государственности китайской империи, понятной ему и легко представляемой. Напрягаясь воображением и мысленно вызывая дух предков, Тан-Уйгу никак не мог увидеть единым и сильным народ, сохранивший о себе память лишь в хрониках и легендах. Уже готовый отправиться с монахом на Толу и Селенгу, Тан-Уйгу почувствовал расслабляющую неуверенность, неожиданный страх, словно увидел этим третьим, не существующим органом физиологического управления человеческим телом судороги умирающих древних народов, и будто кто-то всезнающий стал нашептывать ему по ночам: «Ты будешь последним! Ты будешь последним!» И упрямо не сообщал, в чем он будет последним. Тан-Уйгу просыпался, встревоженный происходящим, в невольном испуге трогал темя, где все было на месте, и кость оставалась костью, покрытой жесткими волосами.

И все же он слышал, что его куда-то властно зовут, насилуя течение устоявшихся мыслей и разум, упрямо диктую какую-то высшую волю.

В последний вечер перед расставанием с Чаньяню и юным наследником, Тан-Уйгу почему-то долго не мог покинуть его, ощущая шемящую жалость, что без него мальчик останется во дворце беззащитным и одиноким, и вдруг сказал:

– Мой господин! Из всех, кто с тобой рядом, я надеюсь только на Дэна. Не расставайся с ним ни на час. Прикажи и ночью быть возле твоей постели. Кроме Дэна, не верь никому.

– Ты за меня опасаешься, Тан-Уйгу? – безмятежно воскликнул наследник.

– Я не знаю, я просто советую... Но так будет лучше, – ответил наставник, не желая выдавать доверительного смущения.

Намереваясь посетить молодого князя Ашидэ Ючжэня, с которым после казни отца-старейшины они почти не встречались, Тан-Уйгу почему-то оказался во Дворце Предков. Он долго стоял, в тревоге всматриваясь в засохшие головы Нишу-бега, старейшины Ашидэ, князя Фуняня. Ранее чуждые, не во всем понятные, они, холодные, с опущенными веками, оставались и сейчас загадочно отчужденными, но не казались бесчувственными и окаменевшими. Они не были для него... мертвыми. Продолжали будто бы думать и слушать, пугая, как могли воспринимать мир живого, избавившегося от них. Выставленные для устрашения, они никак не устрашали, вселяя острую горечь, незнакомую прежде тоску. Тан-Уйгу словно бы слышал тот же таинственный шепот Небес, досаждавший в последние ночи, исходивший теперь от бывших тюркских вождей и похожий на предупреждение.

Происходило необъяснимое; всегда осуждая бессмысленное разрушение, под воздействием загадочного Небесного шепота, словно над ним общались всевидящие звезды, Тан-Уйгу вдруг ощутил дьявольскую силу разрушительного созидания. И почувствовал страстное, нетерпеливое желание покинуть столицу как можно скорее, покинуть благоухающий дворец, переполненный евнухами и наложницами, самому вскочить в седло, самому создавать... яростно разрушая.

– Иди смелей, Тан-Уйгу, ты увидишь! Смелей, без оглядки, – шептали достаточно различимо далекие звезды, а головы казненных соплеменников, не поднимая век, затяжелевших в длительном сне вечности, будто согласно кивали: «Иди, Тан-Уйгу! Иди и дойди, куда мы не сумели!»

Разумом он понимал, что стихийное, плохо продуманное тюркское возмущение окончательно подавлено. Что его народ – народ тюрк, народ шаманов и дузов – практически перестал существовать. Но этот непонятный, рассудительно упертый монах Бинь Бяо продолжает чего-то бояться, настойчиво утверждая, насколько все обманчиво и непросто, как было за веками при рождении хунну, шивэй мукри, жужаней, сяньбийцев. Что Степь остается Степью, клокочет скрытым вулканом и затаилась в очередном зачатии очередного народа-сообщества. Он так и говорил Сянь Мыню – странный монах Бинь Бяо, вызывая неудовольствие: «Сянь Мынь, я видел, что лучше никому не видеть. Я видел гнев горстки удальцов малоизвестного тутуна, когда она прорывалась в пески. Прошла только зима и слава какого-то бродяги с бунтарским сердцем выросла. Не слышите или не хотите услышать? Этот человек во много опаснее прежних тюркских вождей, вместе взятых, потому только, что сохранил кочевой дух первородства, степную отвагу, природный азарт воина. Его нельзя испугать, ему нужно дать и тогда он, возможно, смирится...»

...А звезды вдали, в невидимой вышине все шуршали, шептались, возмущаясь, как мало Тан-Уйгу понимает, и укоризненно покачивались тюркские головы на стенах дворца.

В последнее время каждая весть из Черных песков привносила совсем другие чувства, чем раньше, и совсем по-другому его волновала. В дневной беседе в канун расставания, в присутствии наследника, монаха и старого историографа, вновь допущенного к принцу, Бинь Бяо рассуждал о тюрках только как о грабителях и разбойниках, не сдерживал выражений, и Тан-Уйгу неожиданно резко возмутился, заговорил о положении в Степи, ссылаясь на другие источники. К его удивлению, Бинь Бяо вроде бы растерянно приумолк, но принц охотно подхватил опасную беседу, проявляя немалую осведомленность в недалеком прошлом, что не могло остаться незамеченным для Сянь Мыня.

Властвующий монах не прервал беседу, в которую включился ученый-историк, он вдруг заспешил куда-то, избавив от своего участия.

Продолжая горячиться, принц взмахнул рукой:

– Я видел, как они умирают! На трусливых совсем не похоже. Почему ты сказала, Бинь Бяо, что тюрки – бродяги и беспризорное стадо?

– Слова его неприятны, наследник, и все же точны. Сейчас у них нет ни достойных вождей, ни владений, – произнес Тан-Уйгу, становясь уже на защиту Бинь Бяо.

– И ты, Тан-Уйгу... Ты после это тюрк? Тогда зачем тебе в Степь, не ходи никуда.

Пристальнее взглянув на принца, Тан-Уйгу осторожно поправился:

– Принц, лгать не могу, я согласился пойти в Степь с Бинь Бяо, чтобы увидеть свой народ собственными глазами. И того, кто у них за предводителя. Как я могу смотреть тебе прямо в глаза, когда о моих соплеменниках говорят, как о стаде? Бывают ли народы плохими?

– Уйгу, чем опасны монахи? – спросил принц, удивив Тан-Уйгу далеко не детским вопросом.

– Опасны не сами монахи, строптивые генералы или чиновники, не старые династии с пышным окружением гербов, поддерживающие монарха или не поддерживающие, опасен всегда слабый правитель, – пришел на помощь Тан-Уйгу старый историк.

– Мой отец, Гаоцзун-император – он слабый правитель?

– Император состарился, и ты, наследник, сам видишь, – сурово сказал историк.

– Я хочу быть императором, чтобы вернуть времена деда Тайцзуна! – запальчиво произнес принц.

– Мой отважный господин, подобное невозможно! – Ощущая, как ликующе вздрогнуло сердце, Тан-Уйгу притворно засмеялся.

– Невозможного для императора нет! Разве ты, Цуй-юнь, об этом не говорил? – вспыхнул принц, обращаясь к историку.

– Так только кажется, принц. Можно пытаться что-то повторить, не больше, но это станут совершать другие люди, другой правитель, не Тайцзун, – произнес Тан-Уйгу.

– У меня не получится? – перебил его принц. – Я буду слабым?

– Юный принц, сказано не о тебе, – нашелся Тан-Уйгу, впервые почувствовав, как мало знает наследника и как юноша на глазах взрослеет.

И еще показалось вдруг, что между ученым стариком и принцем установилась куда более глубокая связь, чем виделось со стороны.

– Наставник Уйгу прав, вспомни Кон-фу – кто его повторит? – Историк неожиданно поддержал Тан-Уйгу. – У великих свой путь, о котором никто заранее не знает.

– Учитель Цуй-юнь говорит: мне неизвестен собственный путь? – воскликнул наследник.

– Он пока тебе неизвестен, как неизвестны и те, кто будут рядом с тобой, – подчеркнуто настойчиво повторил историк.

– Да, да, об этом я не думал! Ты умный, Цуй-юнь, я хочу, чтобы ты и Тан-Уйгу были всегда рядом. И Бинь Бяо мне понравился, Тан-Уйгу, приводи его чаще...

Эта беседа не оставляла в покое, рождала новые мысли, как подталкивали к чему-то мрачные головы мертвых вождей, на которые Тан-Уйгу смотрел в тяжелой сосредоточенности.

«Хочу, чтобы ты был рядом, – звучали в ушах Тан-Уйгу слова принца-наследника и держали его, точно цепи, которые просто так не порвать. – Хочу, чтобы ты, Тан-Уйгу, был рядом...»

...А голова старейшины Ашидэ словно бы пошевелилась опять недовольно, и, как всегда, князь-ашина снова не решился ничего ни одобрить, ни осудить.

...И головы Нишу-бега, князя Фуняня не открыли глаза. Но что они недовольны как согревают его сердце слова наследника китайского трона, Тан-Уйгу почувствовал и вдруг ощутил, что ему смотрят в затылок.

Он оглянулся поспешно.

Вдоль стены двигалась фигура в монашеском плаще с капюшоном.

Приблизившись бесшумно, она произнесла голосом Ашидэ Ючжэня, заставив Тан-Уйгу вздрогнуть:

– Весь вечер мы ожидали, но ты не пришел, Тан-Уйгу. Многие ждали.

– Ты догадался, где я? – спросил Тан-Уйгу, унимая мелкую дрожь в застывшем теле.

– Если не пришел, значит, с ними, тебя здесь часто видят... Жаль, ты не знал моего отца близко... Я сам знал его плохо.

– Помолчи, Ючжэнь. Разве мы с тобой тюрки? Они были последними.

– Тан-Уйгу, ты вернешься? Мне можешь сказать?

Наставник будущего владыки Китая долго не отвечал, потом тяжело, с надрывом вздохнув, произнес:

– Я их не слышу, Юса. Хочу, но не слышу. Посмотрим, что будет в Степи. Передай нашим друзьям, я оказался неготовым появиться среди них.

13. Рабство души

Путь на Селенгу оказался труднее, чем виделось и предполагалось даже монаху Бинь Бяо, проделавшему его неоднократно, и занял почти полтора месяца. Они не пошли Черными песками Алашани, направились через Ордос и землями приграничных татабов на север. Узнав о высоком посольстве в телесскую орду, следующим по южному краю его земель, татабский правитель онг Бахмыл сам поспешил навстречу, сопровождал несколько дней, пока посольство не вышло за его владения и не вступило в земли эдизов.

Онг Бахмыл был стар, многое испытал на своем веку. Его рассуждения о власти в Степи иногда вызывали дружное несогласие и монаха Бинь Бяо и тюрка Тан-Уйгу. Но несогласие каждого из них с мнением старого вождя сильно разнилось. Возражая онгу Бахмылу, познавшему разную власть в Степи, монах не скрывал, что каган селенгинских владений слаб и ему, к сожалению, давно не по силам не то, что орда, но и ответвление рода, состоящее из нескольких кошей или отростков как самостоятельное поколение – часть рода. Что каган давно с девятью огузами и Поднебесной лучше вмешаться заранее, чем ожидать бузы со стороны сильных уйгурских кланов. Тан-Уйгу, не сразу поняв, что поколение в том понимании, как его употребляют Бахмыл и Бинь Бяо, есть лишь часть рода, наследие одного значительного князя, ответвление только этого князя, не всего народа, первыми шумными возражениями вызвал насмешки и онга и монаха. Но согласиться с насилием в смене власти ему было трудно и, пропустив насмешки, восклицал с пафосом, что в нынешнем степном миропорядке невозможен не только единый вассал-сюзерен – как сюзерен-повелитель для Степи, и вассал-раб для Китая, – но и вассал-сателлит.

– Вот спроси хана! Спроси, если хан пожелает прямо сказать! – забыв осторожность, с которой жил при дворе, упиваясь безбрежием пространств, неожиданными просторами, наполненными прохладой, радуясь миру легкой свободы, обнимавшей его дружелюбно и без коварства, всему, что с ним происходит, наседали китайский офицер тюркского происхождения Тан-Уйгу. – Вроде бы степной хан как правитель вполне самостоятелен, но и вынужден сохранять верноподданнические чувства к империи. Одним он раб и вассал, другим – сюзерен и повелитель. Он вроде бы с теми, но приходится быть и с этими. Где его сердце – не разум, а сердце, – его кто-то спрашивал? Может ли он быть вечно подданным императора, и ощущая полноправным правителем?

Пространства, пространства, обманчивая беспредельность, отсутствие постоянного взгляда на затылке монахов-соглядатаев и хмурых воинов-стражей дворца, на которых то и дело натываются твои глаза, посылающие тревогу мозгу, пьянящий прозрачный воздух, высокая небесная синь делали азартного тюрка безумно веселым, не желающим утишать бездумный, вольный азарт. Он никогда так вольно и безоглядно не жил! Он вовсе не спорил, он просто позволял непринужденные восклицания, увлекаясь свободой беседы, улетающей в бесконечность.

Его не интересовало, на чьей стороне монах Бинь Бяо – направленный первым советником императрицы, наделенный высокими полномочиями, он, безусловно, должен быть на стороне интересов Поднебесной, и только потом думать о самой Степи. Не мог представлять для него повышенного любопытства и онг татабов Бахмыл. Что значат все эти онги, князья и каганы, посаженные на власть усилиями Китая? О какой самостоятельности каждого из них может вестись речь, когда они живут на подачки Великой империи, заглядывая ей в рот и постоянно выпрашивая помощь, новые караваны щедрых даров. Землю толком пахать не умеют, сеять не научились, но болтать, создавая видимость высокомерия, какой-то собственной значимости – пустое и несущественное. Условность игры во власть и обязательность устоявшегося

поведения – ведь больше нет ничего! Привыкли пыхтеть и важничать – этим и держатся. И мнят о себе, принуждая так же думать о них подчиненных.

Все вокруг было вольным и никому неподвластным. Журчало, текло, ускоряясь душистыми токами, возбуждалось само по себе или утихало. Пело! Вспархивало! Взлетало и взмывало! Тан-Уйгу не испытал степного вольного детства, у него был только суровый монастырь. С юных лет. Но что-то ведь было? Было, он это слышит!

– Став однажды на сторону сильного государства, хан Бахмыл придерживается равновесия, – словно бы убеждая и Тан-Уйгу и самого татаба-правителя, говорил спокойно монах и пожимал плечами: – Он живет в согласии с мирными соседями, не в пример Баз-кагану.

Бахмыл хмурился, слушал, в спор не вступил, свою позицию твердо так и не обозначил. Желая дальнейшего счастливого пути на границе пределов, хан Бахмыл произнес, обращаясь к монаху:

– Будь осторожен, Бинь Бяо, Черный волк слышит жертву на большом расстоянии. Он появляется, где не ждут.

– Кто поднимет руку на монаха? – Бинь Бяо натянуто усмехнулся и, подъехав к Бахмылу вплотную, спросил:

– Онг Бахмыл способен поймать тутуна?

– Я стар для подобной охоты, Бинь Бяо, – уклончиво произнес татаб, именно этой уклончивостью впервые вызывая повышенный интерес Тан-Уйгу, превратившегося в слух.

Он был не прост и неоднозначен – этот Бахмыл-правитель, достоин большего внимания, чем Тан-Уйгу проявил к нему.

– Отправь на охоту, как ты сказал, сына. У тебя хороший наследник, я его видел в орде Баз-кагана, пора бы ему в Чаньянь, – похвалил монах молодого Ундар-буке.

– Сохранять равновесие труднее, чем разрушать, татабы не охотятся за пределами, – уклонился хан от прямого ответа, дав повод Бинь Бяо долго потом ворчать на слепоту степных вождей, их коварство и хитрость, и на то, что Бахмыл совсем не отозвался по поводу отправки сына в Чаньянь.

И вдруг произнес, неожиданно укрепляя в Тан-Уйгу почтение к татабу Бахмылу:

– Не пошлет! Никто не пошлет просто так, раньше почитая за честь.

Встретившись с ними, старый вождь в первый же день предусмотрительно послал своего старшину к старейшинам эдизов, чтобы передать соседям высокое посольство из рук в руки, но ни татаб-старшина, ни старейшины эдизов, по землям которых продолжился путь посланников Чаньяни, не появлялись.

– Онг Бахмыл замечен в коварстве? – продолжая думать о дальновидном вожде татабов, оставившем в нем теплый след, спросил Тан-Уйгу словно уснувшего монаха.

– Великий Китай и Великая Степь будут в вечном противоборстве Степь невозможно ни покорить навсегда, ни усмирить надолго. Император Тайцзун был не прав, утверждая иное, – последовал пространный ответ.

– Мир, сохранявшийся полвека, был настоящим! – несогласно и искренне воскликнул Тан-Уйгу.

– Как ты недавно сказал, Тан-Уйгу: вассалы-сатрапы и вассалы-сюзерены? О чем ты думал, когда говорил?... Впрочем, исключения не отрицают правил, почему бы тебе не посмотреть и на самого Тайцзуна, как на исключение в привычном? Ха-ха, вассал-сюзерен! – Монах рассмеялся, не принимая этого «вассала-сюзерена» и скосил на Тан-Уйгу заметно потеплевшие глаза.

«А Бинь Бяо дальновидней Сянь Мыня, с ним спорить сложнее, – без раздражения подумал Тан-Уйгу, и ему тоже словно бы стало теплее. – Он вторгается в жизнь глубоко, уверенно завладевает умами собеседников, будь это ханы, подобно Бахмылу, располагается в ней основательно».

И тут же подумал, несколько не смущаясь собственных преувеличений в оценке монаха-спутника:

«Рожденный в Тибете, незаурядным умом он выше тибетского цэнпо, живущий в Китае, выше иного китайского императора... Так что же он представляет собой для Степи?»

Старшины эдизов почему-то не появлялись, небольшой отрядик монаха и Тан-Уйгу продолжал двигаться, не углубляясь в эдизские владения, но каждое поселение или кош, появляющийся на горизонте, Бинь Бя непременно желал посетить. Всюду настойчиво и подчеркнuto выставлялся только праведником, доискивающимся истины, сохранял подкупающее терпение к старшинам и старейшинам, пытающимся возражать, но его искусство убеждать, умение вести беседу оставляли несомненный след в душе каждого, кто его слушал. Не разрушая веру в местных богов, лукавый монах умел заронить сомнения в дикой степной вере, построенной не на поиске истины разумом, а только на страхе неведомого, всесильного, неизбежно карающего, и восклицал при этом:

– Бойся не того, что будешь наказан, бойся того, что можешь совершить!

– Бинь Бя, – возражал монаху молодой тюрк, оставаясь наедине, – не всякий разум способен искать и спорить с собой, у разума есть другие задачи.

– Как выжить, убить, разбогатеть? – насмешливо восклицал монах, явно пытаясь раззадорить собеседника.

– Не только. – Тан-Уйгу пожимал плечами.

– Завладеть чужим кошем с красивыми женщинами, чужими наложницами, чужим табуном? Ты плохо слушал меня, Тан-Уйгу, иногда и я могу говорить не то, чем живу.

– Стремишься оставаться монахом?

– Кто ищет, всегда находит, – вроде бы соглашался монах, сохраняя спокойствие и понимая, что произносит вовсе не бесспорное.

– В поисках Света мудрец, философ, мыслитель, простой человек прост желаниями. Зачем вторгаться и разрушать его тихий мир?

– Покажи абсолютный покой, тишину, и я перестану быть монахом.

– Покой! Тишина! Но кто-то нарушает их первым.

– Человек! Всегда человек! – стоял на своем Бинь Бя, поражая силой убеждения.

– Но кто – человек? Пастух? Воин? Какой-то князек или хан?

– Каждый по-своему, твой разум постоянно к чему-то готов.

– К чему он готов, мой жалкий разум?

– Отвергать или покорно принять. К сигналу того, кто сильнее тебя. С онгом татабов ты говорил так, со мной говоришь иначе.

– По-твоему, я пойду за всяким сигналом?

– Кто сказал, что за всяким? – Монах разом вдруг погрузнел. – Твое однородное *бессознание* ненужный слабый сигнал пропустит и дождется нужного сильного... Не ты, твой разум дождется! Так рождаются столкновения.

– Кто способен их предотвратить! Ты можешь?

– Только смягчить удары судьбы.

– Объединив людей твоей верой? В Тибете и Китае сейчас вера почти одна, а вражда не стихает.

– Значит, вера наших народов не столь глубока, как следовало бы.

– И не стоит выеденного яйца? – усмехнулся молодой тюрк.

– Возможно, пока не стоит... если тебе так хочется.

– А тебе?

– Как всякий монах, я в поисках и сомнениях. Я никогда не утверждаю, витая назойливой мухой над разумом в сомнении, но и не отвергаю.

– Бинь Бя, ты веришь в то, что сейчас говоришь?

– Повторяю, я ищу, сомневаюсь и снова ищу.

Первая легкость, эйфория свободы скоро прошли, степи – ровного бескрайнего поля, как представлялось недавно, Тан-Уйгу почти не увидел. Их путь выходил на равнины, иссушенные зноем, петлял по солончакам и такырам, огибал волнистые песчаные россыпи, снова петлял по плоскогорьям, вползая на горные перевалы. Все вокруг было за сотни, тысячи лет избито копытами, истоптано полчищами воинов, измучено безводьем, все выглядело уставшим, ожидающим отдыха. Стадами бродили мохнатые низкорослые дикие лошади, куланы. Стремительно уносились, вздымая пыль, джейраны, дикие верблюды, сайгаки. Среди зарослей солянки, тамариска, песчаной полыни вдруг возникали куртины караганы или голубоватого саксаула и, следуя одной, они оказались на огромном кладбище невероятно гигантских животных с огромными черепами и длинными шеями. Ветер гонял по впадине песок, слышалось, как глухо гудят полые кости прежней степной жизни. Но, неожиданно загрустив, утомившись собой, монахом, бесконечно долгим и пока неопасным путешествием, слушая голос веков, Тан-Уйгу словно бы пытался услышать в нем предков, может быть, себя, и не мог. Чуждый, бесчувственный мир давно умершего теснился вокруг и был словно враждебным.

Монах прав, перед ним земли, напластованием умерших водоразделов навсегда разделившие разные миры, разные эпохи на сажени, на бесконечность пропитаны слезами и смертью. Здесь кровь и кости дикого злобного прошлого на каждом шагу. Что здесь можно искать и найти?

Нагромождение крупных костей не заканчивалось, но прерывалось ненадолго, чтобы тут же предстать еще более устрашающим зрелищем, уставившимися на путников черепами с пустыми глазницами, из которых сыпался наносимый ветром песок. Неприятные ощущения, странный спор внутри себя не исчезали, утомляя бесконечностью, прошлое возбуждало еще сильнее. Тан-Уйгу хотелось поскорее вырваться из этого устрашающего кладбища тысячелетий и не удавалось. Оно давило и властвовало над его чувствами, рождало и рождало новые. Оставалось утомленно закрыть глаза, отдаться власти медленно бредущей лошади, перестав ощущать рядом монаха Бинь Бяо, жить только в себе.

Словно нарисованные, очень правильные овальные долины были наполнены сухим удущьем. Они, стесненные сглаженными горами, по которым, казалось, еще недавно разгуливали огромные шерстистые звери с длинными шеями, которых больше не встретишь, сменились наконец скальными нагромождениями с глухими ущельями и урочищами. Здесь ветер полетел навстречу сильнее и резвее. Он выл дико, злобно свистел, Тан-Уйгу задирает голову, пытаясь увидеть в жутком хаосе нечто ужасное, похожее на летающих драконов или расхаживающих динозавров, но в небе или на холмах ничего опасного не появлялось. Оно сохраняло непривлекательную белесую пустоту.

Потом возникли жиденькие, низкорослые заросли, реденькие леса, и Тан-Уйгу не сразу понял, что это и есть уже настоящая степь, полная обманчивой тишины и покоя. Ветры здесь возникали неожиданней, чем в глухих скалистых ущельях, налетали, едва не сбивая коня, и утихали внезапно, как начинались.

Они нападали с севера, они не впускали в свои вотчины.

И небо было другим. Утяжелившееся непривычно взлохмаченными рваными облаками, медленно ворочающимися, грузно плывущими в непривычной синеве, оно, сливаясь вдаль с шумливым зеленым пространством, вдруг принесло долгожданное облегчение. Облегчение... очень утомительное, погружающее в пустоту, не требующую ни мыслей, ни рассуждений. Нужно было просто ехать и ехать, забыв обо всем. Только сидеть в седле, смотреть и смотреть, слушать и слушать. Слушать ветер и жаворонка где-то над ветром, улавливать шорохи трав и посвист мелких зверьков среди этих шевелящихся, кланяющихся ему цветных полузасохших венчиков, слушать далекие раскаты грома, еканье селезенки собственного коня.

«Бездумность – редкостное ощущение, оно усыпляет, наверное, чтобы опять удивить», – подумал Тан-Уйгу и громко спросил:

– Но почему так безлюдно?

– Степь опустела, – ответил неопределенно монах.

Тьма, разверзшаяся непреодолимой глухостью, обозначила горизонт огнями большого поселения. Не сговариваясь, они подхлестнули коней и утром, сопровождаемые дозором, наткнувшись на них, оказались в ставке кагана.

* * *

Имея смутное представление о кочевье, как-то лишь воображая его, Тан-Уйгу не переставал удивляться, что представало. Особенно поражали шатры на колесах, совершенно непригодные для быстрого перемещения. Перевезти такую махину на остове вьючным способом практически невозможно, сдвинуть и переместить в не разобранном виде – требовалась несколько пар быков или рядов, но, похоже, их вообще, однажды вкопав по самые оси, никогда не передвигали.

Лагерь был обнесен старым, на треть залившимся рвом с водой и валом, по гребню которого тянулся толстобревенчатый частокол, давно износившийся, обветшалый, обмазанный толстым слоем запекшейся глиной. Угрюмый выцветшей серостью, изъеденный временем и короедом, он кособочился, выглядел дряхлым и ненадежным, словно, случайно выстроив, о нем навсегда позабыли.

Только ворота в бронзовых накладках, с массивными коваными углами, впусившие в городище стражей и путников, смотрелись внушительно, растворяясь медленно и неохотно.

Само городище, шумливое, крикливое, суетливое уже в ранний час, напоминало что-то веселое, почти бесшабашное. Здесь все хорошо всех знали и общались легко, понимая друг друга с полуслова. Было много слуг и рабов, занятых с рассвета каждый своим, женщин и ребятшек, наполняющих звонкими голосами начало нового дня. На коновязях у юрт, полуземлянок, шалашей висели попоны, потники, седла, торчали короткие копья и длинные пики, и мирная жизнь текла своим чередом. Свежевали забитый скот и разбирали вороха шерсти. Под плоскими крышами черных кузниц ритмично, торжественно радуясь новому дню, переговаривались молоты и молотки. В станках ковали коней. В огромных чанах, стянутых волосяными жгутами на скрутках, квасились и дубились шкуры, сдиралась мездры Разводился огонь под большими казанами, и седлались пригнанные из ночного кони.

Шатер кагана, водруженный на бревенчатые венцы, и огромные колеса, закопанные наполовину в землю, выделялся среди сгрудившихся вокруг юрт и шатров гигантским размером поражающим воображение. На площадке у одной из юрт, обвешанной лисьими, волчьими, белчьими хвостами, разноцветными перьями крупных птиц, камлали шаманы, собрав много зевак, и били барабаны в такт движениям дергающихся служителей Неба.

– Шаманы! Я не ослеп, Бинь Бяо? Ты терпишь в орде шаманов?

– Мы не враждуем, – ответил туманно монах.

Баз-каган оказался только что проснувшимся, подслеповато шурился. На нем был длинный пестрый, обшитый мехом халат, круглая меховая шапочка с крупным зеленоватым камнем.

Шапочка была кагану великовата, словно бы он усох в ней за годы, пока носит. Каган постоянно ее поправлял, заставив Тан-Уйгу невольно усмехнуться. Весь он выглядел несерьезным, казался шутком, а не ханом, но, когда, пригласив гостей на царственную половину, уселся среди подушек, вид его изменился, несерьезность улетучилась, и он уже был не таким услужливым и подобострастным, каким представлялся на широких ступенях входа в шатер.

Говорить Баз-каган, покончив с обменом приветствиями, начал просто и твердо, положение в Степи знал. Не нажимая на угощения, располагающие к неспешной беседе, сделав короткое сообщение, он предложил Бинь Бяо, никак не замечая Тан-Уйгу и не оказывая никакого внимания, передохнуть с дороги. И добавил, что у них продолжается большой совет степных вождей, обсуждающий предстоящую облаву на тутуна Гудулу, третью за прошедшее лето.

– Благодарю, мы с тюркским гвардейским офицером, наставником принца по боевым искусствам Тан-Уйгу должны немного отдохнуть, ты прав, – назвав полное служебное имя своего спутника, согласился монах, не проявив интереса к сообщениям хана, и спросил: – Как чувствует себя мой юный воспитанник? Я скучал по нему.

– Сожалею, Бинь Бяо, но разрешить сыну поехать в Чаньянь я не мог... И он без тебя скучал.

– Я скучал, наставник! Я сильно скучал! – Мальчик-принц явно подслушивал и ворвался, как только услышал, что заговорили о нем, повис у монаха на шее.

Монах сидел, не шелохнувшись, глаза его лучились теплом.

– Нехорошо, Дуагач, тебя никто не позвал, почему ворвался, как ветер? – Седая бровь кагана недовольно сползла с горбатенького лба, закрыла сердитый глаз.

– Не позвали! Тебя, Дуагач, не позвали! Пока мальчик, не жди, когда позовут, – через собственное плечо монах дотянулся до головы мальчика, запустил в его волосы короткопалую пухлую руку. – Как мама-ханша Рессуль? Хюсна Ньюю часто приводит? Саум-баатыр учит стрелы пускать? Я привез тебе кое-что, закончим беседу, покажу.

– Мама Рессуль, Хюсна и Рахмин-воспитатель возили меня на остров шаманов, – тараторил с восторгом юный принц, и лицо монаха враз посмурнело.

Найдя взглядом кагана, он укоризненно покачал головой.

– Чтобы лечить! Князья настояли, я не стал возражать. Ему помогло, ему стало лучше, Бинь Бяо! – произнес поспешно в свое оправдание каган.

– Сам дикий и сына... Забыл, чего добивались эти твои князья и служители черного мира прошлой осенью и благодаря чему твой сын рядом с тобой?

– Бинь Бяо, не вспоминай...

– К тебе идет большой караван, верблюдов на двадцать... Хорошего лекаря мальчику пока не нашли. Говорят, где-то в Шаньси есть Сяо-старик, самому Тайцзуну когда-то служил, обещали разыскать.

– Я просил... – Поежившись от холодного взгляда монаха, Баз-каган оживился.

– Кроме лекаря, у меня есть все для мальчика, о чем хан просил, – перебив кагана, миролюбиво проворчал монах и поднялся.

Чувствовалось, что хан и посланец Сянь Мыня умеют объясняться коротко.

– Тюнлюг... по-прежнему жив и шумлив? – с усмешкой спросил Бинь Бяо, задерживаясь у малозаметного выхода на другую половину шатра.

– Он жив, – ответил сдержанно каган.

– Облавы – третья, ты сказал? Он занят лишь этим? – спросил монах.

– Я не против и не мешаю, – поспешно буркнул повелитель Селенги.

– Можешь потерять Тюнлюга. – Монах странно почмокал губами. – Не боишься?

– Рука Неба всегда справедлива, – уклончиво произнес каган.

– У онга татабов хороший сын. Ты доволен... своими?

– Моя жизнь, монах знает, состоит из трех частей, в каждой из которых у меня были крепкие сыновья. Последний пока слаб.

– Мой вопрос не о младшем.

– Я ответил о сыне, – с непонятным напором для Тан-Уйгу произнес каган и монах усмехнулся.

– Где первые – никогда раньше не любопытствовал, но знаю, что были, – скосившись на Тан-Уйгу и явно для него, произнес монах.

– Их жизни оборвались давно, – уклончиво вымолвил хан, досадуя и раздражаясь, отозвался каган.

– Как ты, они были противниками перемен? – упрямо и настойчиво допытывался монах.

– Мы просто жили, Бинь Бяо.

Этот краткий разговор имел заведомую цель, но Тан-Уйгу ничего не понял, кроме того, что хан дикой орды на стороне старых времен и старых нравов, которые теперь в прошлом, что последний сын Баз-кагана серьезно болен и с ним уже что-то случилось далеко неординарное.

Монаха в орде хорошо знали, относились вполне дружелюбно и священнослужители и предсказатели. У него была своя просторная юрта – юрта, не шатер. И не белая, как у многих знатных людей орды, а серая. И не одна, целый кош с прислужниками, слугами, последователями приверженцами его веры, его Будды, небольшое каменное изваяние которого стояло у входа в жилище.

Рядом торчал столбик с перекладиной поверху и подвешенным тибетским колоколом.

За годы пребывания в орде Бинь Бяо успел создать свой маленький мир, жил в согласии с ним, окружающим и не впустил Тан-Уйгу, показал на отдельную юрту, и объявил:

– Расположишься там, но больше нам придется бывать рядом с каганом. Впрочем, у нас мало времени. Чтобы показать тебе Степь и встретить тюркского предводителя, как просил Сянь Мынь, придется много поездить.

К нему подходили простолюдины и воины, разного уровня военачальники, радуясь возвращению многолетнего Учителя и божьего наставника, кланялись, касались длиннополых черных одежд, в которые он успел облачиться. Здесь мгновенно и как-то сразу ощущалось его собственное царство, неприкосновенное обиталище служителя Неба, а не высокого посланника Чаньани.

Да так и было, словно Бинь Бяо давно решил для себя вопрос дальнейшей жизни, навсегда выбрав Степь, устроившись основательно.

Изъявив желание присутствовать на совете уйгурско-телесской знати, о котором только что шла речь у кагана, Тан-Уйгу получил неожиданный отказ монаха.

– Скоро мы сами пойдем в Степь. Вдвоем, – бросил сердито Бинь Бяо, сделавшись задумчивым и чем-то расстроенным. – Отдохни, стряхнув пыль путешествия, наберись сил, готовься говорить с тюрком-тутуном, а не с князьками токуз-огузов.

– Бинь Бяо, я здесь не только, чтобы встретиться с тутуном, мне любопытен и Баз-каган и его окружение! – возмутился гвардеец.

– Не спеши, осмотришься и не лезь головой в пекло. То, что ты хочешь узнать – само придет к тебе в руки. Наберись терпения.

– Тутун Гудулу согласится на встречу? – спросил Тан-Уйгу, не в силах разгадать мысли монаха. – Как он узнает о нашем желании?

– Он давно знает, – ответил Бинь Бяо, усиливая недоумение произошедшими в нем переменами и непонятым брюзжанием: он стал сух, недоверчив, странно ворчлив.

– Ну, знаешь ли... Кто и когда успел ему сообщить о нашем желании, неизвестного пока даже кагану?

– Зато в курсе онг Бахмыл. – Монах нервно повел плечом.

– Бахмыл-онг на стороне тутуна?:

– Хан татабов ни с кем не ссорится... Недавно Бахмыл скрытно вывез из Ордоса сборщика налогов старшину Дусифу, старшего брата тутуна, которого Сянь Мынь приказал доставить в Чаньянь и не доставил.

– У тутуна в Ордосе был брат?

– Другой брат у него в Маньчжурии, Мочур, кажется, и китайский офицер. Думаю, и с ним опоздали... Мы всюду стали опаздывать, Тан-Уйгу.

Намек монаха был более чем ясен: он осуждал Сянь Мыня и здесь, в степи, не считал нужным скрывать.

14. Подготовка к облаве

Телесский лагерь жил предстоящей облавой – третьей по счету с начала весны. С шумными восклицаниями, проклятиями Черному Волку песков – теперь они только так называли тюрка-тутуна – в стане появлялись новые и новые князьки и старейшины. На холмистых берегах неширокой реки, под надзором одноглазого Як-Тургана – сурового на вид ханского управителя, ставились просторные юрты. И все же у Тан-Уйгу складывалось впечатление, что, дружно съехавшись на общий совет, громкогласо проклиная тюркского разбойника, вроде бы готовые к серьезным совместным действиям, чтобы на этот раз покончить с Гудулу окончательно, на самом деле степные вожди были вовсе не единодушными. Они, как самое важное, выясняли до хрипоты в первую очередь, кто и сколько выставит воинов, каким пойдут направлением и почему именно так, где станет лагерем, и как будет поддерживать связь с другими участниками похода, непосредственно с каганом и князем. Достаточно плутоватые, любители поговорить, эти предводители местных сообществ-огузов, племен и родов, сознавая вполне, что разоряет тутун Гудулу в основном крупные коши уйгурского князя, были не прочь услужить Тюнлюгу словом и лестью, только не делом. Тем более что сам каган отказался возглавить охоту на степного разбойника, сославшись на недомогание, поставив многих в затруднительное положение. Потому что идти на тюрка под рукой кагана – одно дело, под рукой уйгурского князя Тюнлюга – совсем другое. Собственный опыт старшин и старейшин, князей и князьков каждому внушал, что военачальник, с которым уходишь в сражение и возвращаешься, достигнув успеха, сам скоро становится вождем, смещая старого. А видеть каганом жесткого уйгурского князя, которому только постоянное китайское присутствие в орде мешало утвердиться на первенстве, многим было совсем не с руки; и почему хан, возглавив успешный прежний поход против Фуняня, уступает куда более простое дело Тюнлюгу, для них оставалось загадкой.

Нежелание Баз-кагана возглавить облаву было непонятным и Тан-Уйгу, подсказывая, что степной предводитель орды Толы и Селенги испытывает в чем-то большие сомнения.

Впрочем, кажется, и монах по-своему сомневался в новой затее князя Тюнлюга. Оставаясь насупленным и скучным, он позволял себе немного развеселиться, лишь встречаясь с Дуагачем, его любвеобильной к мальчику матерью-ханшей Рессуль и маленькой девочкой Нюей, без ума обожаемой ханским отпрыском.

Сыну кагана он терпеливо втолковывал, из чего состоят письменные китайские знаки-иероглифы, как они изменяются, рассказывал о положении звезд на небе, и добродушие, мягченность его лица, живость глаз не знали границ.

Нередко к ним подсаживалась мать-ханша. Поглаживала мальчика по голове, словно переливала в него всю материнскую душу. Увлечшийся мальчик сносил ее ласки, противясь и бунтуя во всяком другом случае.

Это было идиллией и трагедий одновременно трогавшие Тан-Уйгу и рождавшие добрые чувства к монаху.

Сохраняя холодное равнодушие к остальной жизни телесского лагеря и орды, как бы подчеркивая демонстративное неучастие в происходящем под началом князя Тюнлюга, монах вдруг сердито сказал: «Слушай и делай выводы, о которых доложишь Сянь Мыню, я отлучусь ненадолго. Но знай наперед: счастлиwickа Гудулу, как хочется князю Тюнлюгу, ни за что не поймать... Лишь беды будет много и крови. С тутуном, как с волком – последнее дело. А я... Лучше я мальчика увезу».

С ним отправлялись в кош какого-то князя Ясына юный принц с матерью-ханшей, старик-воспитатель Рахмин и телохранитель принца Саум – крупный, будто квадратный батыр-силач.

Поведение монаха и кагана походило на страх перед тутуном, нежелание сталкиваться силой на силу, и Тан-Уйгу, провожая Бинь Бяо, с затаенной издевкой спросил:

– Ты по-прежнему ищешь встречи с тутуном или уже передумал?

– Мы проделали большой путь, – строго и опять неопределенно произнес монах, оставив Тан-Уйгу на несколько дней одного.

Пока монах отсутствовал, в орде ничего существенного не произошло, определившись окончательно с походом-облавой. Уезжали и возвращались, собрав необходимые сведения, опытные степные лазутчики, камлали, прося Небо о помощи и обещая богам обильные жертвоприношения, странные камы Тюнлюга, похожие скорее на колдунов-безумцев, чем на обычных шаманов.

– Крови! Небо просит живой крови, Тюнлюг! – кричали они всякий раз, когда появлялся величественный князь, напыщенный, подобно китайскому вельможе, покровительственно кивавший всем с высоты богатого седла.

Зная о мерзком древнем обычае заклания детей, как самой высокой жертве Небу, давно в Степи вроде бы ушедшем в небытие, Тан-Уйгу не придавал этим воплям-призывам значения – что с них возьмешь, камы стараются угодить своему князю! – но кто-то шепнул однажды из ночи: «Посланник Сянь Мыня, пойдя на рассвете к реке, за поселением увидишь дикость убийства... Будь осторожен».

Шепнул, встревожив до глубины, словно перенося в другой мир безумств и кошмаров, и пропал, как ветерок, встопорщивший волосы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.